

Каринэ АРУТЮНОВА

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

БЛАЖЕННЫЕ

Повесть

*рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молится, летая, моль
над роялем,
грустная, как си бемоль,
над лялялялем*

Владимир Гандельсман
Школьный вальс

В какой-то момент Верочка перешла исключительно на балетки. Вдела ступню, и вперед, – никакой тебе шнуровки, пуговиц, застежек, а главное, наклонов, совершенно несовместимых с травмой позвоночника, которую она перенесла прошедшей зимой. Снег давно не чистят, – так, посыпают какой-то разъедающей обувью химической дрянью. Нет, день этот не значился на календаре, и не был как-то специально помечен в ежедневнике, которого у Верочки отродясь не было. Просто из Верочкиного гардероба (какое уютное, старомодное слово, не так ли?) будто бы в одночасье исчезли все прочие виды обуви, даже, страшно сказать, теплые войлочные сапожки на удобной застёжке. В Верочкином детстве такие звались неваляшками.

А кто сегодня пойдет в неваляшках? – голос этот, немного глуховатый, принадлежал Верочкиному папе, и сильные руки обхватывали капризно вытянутую ножку, у основания будто перетянутую невидимой резиночкой. Верочка была совсем не пухленькой, как кажется отсюда, издалека, а миловидно упитанной, округло-хорошенькой, отчего взрослые так и норовили ущипнуть ее то за атласную щёчку, то за нежный локоток.

Отец носил ее на плечах, но чаще – на спине, это называлось «купки-баранки», и хохочущая девочка бойко ударяла ножками по отцовским бокам и пояснице, и главным, конечно же, и самым уморительным во всей этой истории была угодливо согнутая мужская фигура, якобы прогибающаяся под тяжестью сладкого груза. А груз был, несомненно, сладким, – бывают ведь такие сахарные, сладкие дети, которых так и хочется то поцеловать, то куснуть, – в шейку, в ладошку, в пяточку.

Отцовская ладонь, обхватывая с нежностью Верочкину пяточку, осторожно проталкивала ступню в темный (с высунутым войлочным языком) зев сапожка, и, поднатужившись, тянула на себя немного тугую змейку-молнию. Верочка, возвышаясь над отцовской спиной, наблюдала законный пейзаж, – едва прорисованный мягкой акварельной кисточкой, – в нем, в этом пейзаже, не было ничего ровным счётом

примечательного. Разве что вспорхнувшая на голую ветку тучная ворона. Желтоватые ватные комки между тонкими дребезжащими стеклами создавали подобие рамы, в которой видимое становилось нарядным, оформленным, будто вдетая в багет картина.

Вот этот застывший (на каких-то несколько мгновений) кадр, неяркий, – без единого акцента, останется в памяти – стоящий на одном колене отец, покрасневшая аккуратно подбрита кожа затылка и шеи, сидящая на дереве тучная ворона, чуть дребезжащее (вдалеке проезжает трамвай) стекло.

Тугие петли цигейковой шубки не поддавались Верочкиным сахарным пальчикам, да и отцовским – длинным и сильным, они поддавались с трудом, но вот защелкивалась последняя, у самого подбородка, пуговка, и Верочка, сопя, разворачивалась вправо и влево, давая обернуть себя пуховым (поверх шубы) платком, и теперь, почти задыхаясь, уже в тесноте прихожей, освещенной тусклой лампочкой, она терпеливо ждала, пока отец наденет похожее на верблюда двубортное коричневое пальто.

Заснеженный барельеф над крыльцом, скользким булыжником вымощенная мостовая, полукружьями выступающие балконные решетки с замысловатыми металлическими виньетками. Окна прикрыты ставнями, за ними прячутся цветочные горшки, и фикусы, покрытые многолетней пылью. Чей-то неясный профиль за сдвинутой занавеской, клочья ваты в проеме между тонкими дребезжащими стеклами.

Включенная на кухне радиоточка бубнила о чем-то бархатным баритоном. В комнату, точно облако, врывалась похожая на доброго гнома старушка в обрезанных у щиколотки валеночках, в шерстяном платке крест-накрест через спину и грудь, – лицо ее было торжественно, руки прижаты к груди.

– Соня, золотко, только что... Вы слышали?

Старушку (на самом деле никакая она была не старушка) звали Фира, и работала она мастером цеха на четвертой обувной фабрике, но там ее называли уважительно, несмотря на шерстяной платок и валеночки – Фира Наумовна, однако Верочка ничего про это не знала, – для нее Фира была той, которая живет в крохотной комнатухе под лестницей.

Отец, пристроив зеркальце к полке, брил худые щеки и острый подбородок, до крахмальной какой-то бледности, от которой лицо его становилось моложе и болезненней, он даже казался немножко чужим, но ненадолго, потому что уже через несколько часов сквозь кожу его пробивались жесткие рыжие волосы, и тогда все становилось на свои места, – отец был отчаянно худ, каштаново-рыжеволос, и первое воспоминание, связанное с ним, было именно это – покалывание жестких волосков, довольно ощутимое, отчего Верочка ежилась, точно от щекотки.

Что-то поскрипывало в тишине, что-то с грохотом упало и покатилося, – раздался звонок, женский крик и захлебывающийся детский рев, – сколько раз, – я говорила, говори-ила! Человек со смешной фамилией Голубчик, скукожась и кивая головой, мелкими шажками пробежал из кухни в боковую комнатку, – потом! потом! – в трубке что-то щелкнуло, – короткие гудки, – всклокоченная шевелюра Голубчика еще раз показалась в приоткрытой двери и исчезла.

Это случилось в слезливый мартовский день, ничем особо не примечательный. Верочка, играющая в коридоре с ангорской кошкой, беленькой, с черным пятнышком на ухе и груди, вздрогнула от низкого протяжного воя (не мужского, не женского, волчьего какого-то), – такого она не слышала никогда, и вой этот раздавался из комнаты Повалюков.

Из боковой комнаты вновь выглянул Голубчик. Лицо его было бледным, на плечах торпорщился пиджак, которого (как казалось Верочке), сосед сроду не носил.

– Ну вот и все, – сказал он, – *аман*¹ сдох, – и будто в подтверждение его словам, страшный вой повторился, разрастаясь, – казалось, выли сами стены, и даже дома, раскачиваясь от страшного горя. Случилось что-то ужасное, непроизносимое, но, странное дело, – Соня, сидящая в комнате за шитьем, разве только немного побледнела и повернула голову к Илье, который застыл с покрытой пеной щекой и полотенцем на плече. Позже, много позже, вспоминая этот странный день, совсем не праздничный, но наполненный тайным, скрытым от непосвященных смыслом, Верочка увидит, будто на старом поблекшем снимке, склоненное, очень красивое, лицо матери, и мокрое, совсем мальчишеское, – отца.

Странное свойство памяти, – удерживать какие-то на первый взгляд совершенно незначительные подробности, и именно они, как правило, становятся значимыми.

Ибо что такое прошлое без запаха отцовского, висящего на плечиках, пальто?

Без его истертой (цвета кумача) атласной подкладки, без крупных плоских пуговиц, без внутреннего алого кармашка, в который так любопытно было просовывать ладонь, нащупывая тисненые буквы на удостоверении.

Пальто было из тех, трофейных ещё запасов, кажется, английское, – во всяком случае, отец упоминал об этом не раз. Добротнo сшитые вещи не оставляли его равнодушным, но и рабом этих вещей он никогда не был. Пальто из английской шерсти прослужило немало лет. Во всяком случае, замены ему точно не было.

Дела, надо сказать, шли неважно, – за несколько лет из блестящего военкора отец превратился почти в безработного. Первые послевоенные годы пролетели в обустройстве гнезда, и это, собственно, казалось (и было) самым важным, – налаживание всех жизненных систем, обеспечение их самым необходимым, наполненное, осмысленное проживание каждого дня, хотя для Верочки это было время счастливого беспамятства.

Родившейся в Берлине, ей, уже пяти-шестилетней, всюду встречались приметы великих времён. Главной была, конечно же, лейка. Загадочный механизм, состоящий из множества деталей, непостижимым образом связанных между собой, он волновал и притягивал совершенством исполнения, сложностью и завершенностью формы. Вожделенное «нечто». Добраться до сути, понять, «как оно устроено». Порой, не дыша, касалась она пыльного футляра, не без усилий отстегивала крохотную кожаную пуговку, обнажая всевидящий глаз объектива.

Фотодокументалистика перешла в разряд почти хобби, – ведь войны имеют обыкновение заканчиваться, а свадьбы, юбилеи и прочие значимые вехи в человеческой жизни никто не отменял.

Пленку отец проявлял в кромешной темноте чулана, и это было, конечно же, таинство. Событие. Чудо возникновения и повторения неповторимого, собственно, воспроизведение самой жизни, ее фактическое доказательство. Детальность и отточенность процесса. Отмокая в розовых пластиковых ванночках, на снимках оживали лица незнакомых людей. А вот и ее, Верочкино, почти неразличимое в нимбе светящихся волос. Пожалуй, она была главной и самой благодарной его моделью, если не считать, конечно же, Сони.

¹ Аман – в книге Есфири – сын Амадафа, царедворец персидского царя Асуира, или Агасфера, задумавший из зависти к своему сопернику Мордехаю погубить всех евреев в Персии и поплатившийся сам жизнью.

– А ведь Верунчик наша уже совсем барышня, – смеялся отец и щелкал ее по носу, – не больно, впрочем, и исчезал надолго, а возвращался к поздней ночи, внося на вытянутых руках отрез шелка или крепдешина, или даже панбархата, который набрасывал девочке на плечи и, склоняя голову набок, присвистывал якобы в изумлении, разглядывая застывшую в смущении дочь, – все еще неловкого подростка для всех, но не для него, – бледность, неуклюжесть казались началом чего-то прекрасного, зарождающегося на его глазах. Зажмурившись, стояла она посреди комнаты, освещенная янтарными отблесками трофейного светильника, – вот и выросла, вот и выросла, – пожалуй, только отец и видел в ней красавицу, а мать вздыхала, отмечая, что волосы дочери торчат в стороны, и кожа не может похвастать матовостью, в целом же она похожа была на несуразного птенца, – бестолковая, – Соня небожно хлопала ее по спине, надеясь таким образом выправить осанку, но осанки не было, не было, и все тут, – из спины выпирали лопатки, позвоночник гнулся, плечи уходили вперед.

Отец смеялся, по-детски радуясь тому, что невнятный младенец вырос в нескладную девицу, и это переполняло тайной гордостью, что вот он, Илья, родил дочь, и вначале все было похоже на забавную игру, а теперь маленькая женщина стоит посреди комнаты, и он, Илья, имеет самое непосредственное отношение к этому явлению.

Верочка смущалась, потому что ко всему этому надо было как-то привыкнуть, – ко всем этим переменам, к которым она как-то не была готова, страшилась их. Иногда она боязливо касалась себя, и это наполняло ее странной грустью и необъяснимым томлением, – выбора не было, приходилось мириться со всем этим, – предопределенность страшила и одновременно влекла, как и всякая мысль о неизбежном. Ведь можно же как-то этого избежать, – тяжести внизу живота, приступов тошноты и непомерного аппетита, как будто некий незнакомец вселился в ее, такое понятное до мелочей, тело, и он, этот незнакомец, требует все новых и новых жертв, предъявляет права, раздвигая грудную клетку и бедра, сжимая гортань и забираясь в голову.

Мать смахивала пыль с комода или платяного шкафа, выдвигала и задвигала так называемые «шухлядки», брала в руки фарфоровых пастушков и пастушек, – на миг лицо ее освещалось улыбкой, – возможно, отсвет этой улыбки тянулось еще оттуда, из Берлина, – там все только начиналось, и пьянящий воздух другой жизни проступал сквозь горькую завесу дыма.

Дом, в котором добротная мебель благородного темного дерева, застывшего под ажурными салфетками, – ни скрипа, ни шороха, – лишь иногда поскрипывающего серванта, за стеклами которого угадываются застывшие в чинных позах фарфоровые пастушки и китайские болванчики, и, конечно же, посуда, – пирамиды, составленные из судочков, глубоких и мелких тарелок, соусников, пузатых чашек и прозрачного саксонского фарфора, – такого непостижимо утонченного и хрупкого в неловких руках, – я тебе сколько раз говорила! – все тот же голос с металлическими нотками вырывает из забвения.

Чашка выскальзывает из пальцев и плавно разлетается на тысячи благородных осколков. И тут же рев, – оглушительный, помноженный на десяток зеркал, в которых злые тролли хохочут, гримасничают, заходятся беззвучным плачем, тычут в ее сторону короткими пальцами.

И тогда тишина дома поглощает ее, сидящую в углу с прижатой к груди тряпичной куклой.

Некрасивая, некрасивая, – бормочет соседская старуха, ощупывая беспокойными глазами. Глаза у старухи трахомные, страшные, а руки – цепкие, жилистые, – ничего, что некрасивая, зато добрая, – таков старухин вердикт.

Мать, пугливо обхватывая голову девочки, прижимает к животу. Утешенная, вдыхает она тепло заношенной ткани, желая только одного, – стоять так до самого вечера, пока не явится спасение в виде отца, такого же рыжего и некрасивого, как она, – в отца пошла, – шелестит соседка, – в отца, – у тебя, Соня, волос ровный, красивый, и нос, и бровь, – подпортил Илья породу, – она в них пошла, в их сторону, в бабу Еву.

Верочка обиженно сопит, потому что никакой такой бабы Евы не знает, а отца считает самым красивым на свете, даже красивее мамы, которая, и правда, невообразимо хороша в своем строгом с рядом матерчатых пуговиц заграничном платье, – тогда все подводами, составами везли, и платья, и комоды, и рояли, и даже ее, Верочку, привезли, – всю в кружевах, точно куклу, – с тугими младенческими ручками, ножками и похожей на облетающий одуванчик головой.

Хлопок входной двери, и чужую старуху словно ветром сдувает, как будто и не было никогда. В проеме двери – отец, смеющийся, худой, растрепанный, будто светящийся, – это все рыжина, проступающая отовсюду, – из глаз, пор, волос, – отец так же пятнист и некрасив, и так же беспричинно весел – тогда как мать – настороженно-грустна и словно тень, бесплотна.

Наиболее уютным местом в доме была, конечно же, кухня, – ничего общего с коммунальными кухнями, которые принято изображать в кино. Никаких скрученных тряпок, никакой затхлости и духоты, никаких выяснений отношений, боже сохрани!

Да, тут и там вспыхивали скандалы, но чаще они были локальными, внутрисемейными, прогнозируемыми. И заканчивались так же неожиданно, как и вспыхивали, – собственно, скандалами в традиционном смысле этого слова назвать их было нельзя, – так, легкие сполохи, – пустячки, придающие вкус жизни.

На кухне висело радио – большая черная тарелка, и Верочка, пристроившись у подоконника с кошкой на коленях, слушала все подряд – залихватскую гармонь, торжественный голос диктора, скрипичный концерт, частушки...

В комнате, расположенной в самой глубине квартиры, чуть позднее появилось свое «радио», – приемник, – громоздкое довольно, основательное устройство светло-орехового цвета, накрытое ажурной салфеткой. Сидя рядом с отцом, Верочка вслушивалась в вещание, которое разительно отличалось от кухонных передовиц. Будто прорываясь сквозь невидимую толщу вод, заграждений (казалось, там, в эфире, бушуют ветры, воют метели, и безымянные скрипачи водят невидимыми смычками), звучала человеческая речь. Сквозь вой и скрежет, щелчки и шипение пробивался очень доброжелательный, нездешний какой-то голос, совсем непохожий на голос диктора Левитана. Отец, набросив на плечи верблюжье пальто, кивал головой, улыбался чему-то, хмурился, негодовал, – и вдруг, будто опомнившись, наталкивался взглядом на Верочку, тихо засыпающую рядом.

– Какой же ты тяжелый, Верунчик, – смеясь, подхватывал ее, полусонную, под коленки, дивясь драгоценной этой ноше.

– Раечка, золотко, сладкая, – Петро Повалюк чуть гнусавил и заискивающе терся о Раисину спину.

Верочка замороженно наблюдала за этой восхитительной прелюдией, – сейчас уже трудно вспомнить, что так влекло и отталкивало одновременно, – едкий ли рыбный запах, – то неуловимо чарующее и страшное, что происходит на кухне в молочные утренние

часы. На кухню черепашью шагом входила Фира Наумовна, поджав губы, ставила чайник на конфорку и доставала галеты.

Появление щуплой, почти невидимой Фиры вызывало в Повалуках приступ буйного веселья, – наверняка, даже самим себе они не могли объяснить этого, – превосходства румянца над бледностью, здоровья над немочью, плоти над бесплотностью...

Особенно восхищал отставленный мизинчик, – тю, глянь, – Раиса прыскала, впрочем, беззлобно, – пока Фира ополаскивала заварник, супруги давились беззвучным хохотом, – ну надо же, мизинчик, – надо же...

– Фира Наумовна, – Повалюк подмигивал супруге и галантно касался острого плечика, – не желаете ли – рыбки, – лицо его расплзлось блином, – Фира вздрагивала и подергивала подбородком: – Нет, спасибо, Петр Григорьевич, я лучше чаю попью.

– Чай... чай, – посмеивалась Рая, и, развернувшись со сковородой в вытянутых руках, внезапно оглядывалась на Верочку, застывшую в двери, – *шо стоишь, – заходь до нас*, – или тоже чай?

Верочка проскальзывала в логово Повалуков, пропитанное чуждыми запахами, – такими до неприличия явными, пронзительными, – с застеленной переливчатым цветастым покрывалом гигантской кроватью с никелированными шишечками, с устрашающим конусообразным бюстгалтером, свисающим со спинки стула, с многочисленными снимками на стене, – старушек в повязанных плотно под подбородками платочках, удалого красавца с гармонью, двух застывших серьезных девушек с закрученными вокруг голов косами – на Верочкины расспросы ответ был один: – *а хто его знае, – оно здесь висело, так я и оставила, пускай висит*, – Рая проворно стелила на стол – ставилась еще одна тарелка, для гостыи, – на стул подкладывалась расшитая подушечка, для удобства. Петро прикладывался к рюмке с наливкой, – тягучая жидкость лилась меж мясистых его губ. Раиса придирчиво следила за опустошением Верочкиной тарелки, – кушай, деточка, кушай, – Верочка старательно подъедала, пока Раиса, подперев круглый подбородок ладонью, размягшим бабьим взглядом смотрела на мужа, – *Петро... нам бы дивчинку... маленьку... або хлопчика... – а, Петро?*

Осоловевшие глаза Петра останавливались на Раисиной пышной груди, вольготно раскинувшейся под бумазейным халатом..

– *Ну, – покушала?* – Раисина ладонь оказывалась на Верочкином плече, – и через минуту она (Верочка) уже стояла в тесном коридорчике с глуповатым остроухим «ведмедиком» в обнимку, – иди, погуляйся, деточка, – за стеной уже повизгивали пружины и какая-то маленькая девочка, а не Рая вовсе, выводила нежные рулады, – ай, ай, – а кто-то – строгий и взрослый – взволнованно вопрошал: – *гарно? так гарно?...*

После обеда наступало время заслуженного досуга, – под сокрушительные звуки духового оркестра. Человек со смешной фамилией Голубчик (из боковой комнаты слева) страдальчески морщился, – это не музыка, девочка, это гвалт.

Почти никогда Марк Семеныч никогда не называл Верочку по имени, – впрочем, как и остальных соседей. Даже у входа в уборную он застывал в галантном полупоклоне, – мадемуазель... мадам... только после вас!

У щепетильной Фиры это вызывало приступ паники, – она осмеливалась посещать отхожее место, если поблизости не оказывалось убийственно вежливого соседа.

Ходили слухи, что маленький Голубчик чудом остался в живых, и с тех пор жил совершенно один, без друзей и родных, – на стене висел портрет улыбающейся молодой женщины в шляпке, а чуть ниже с маленькой фотокарточки улыбались темноглазые девочки-двойняшки с бантами в темных волосах.

Иногда Фира, Голубчик и Верочка резались в подкидного, – Марк Семеныч азартно вскрикивал, жульничал, томно прикрывал веки сухой ладошкой и по-детски бурно захлебывался обидой и восторгом. Подталкивая Верочку локтем, Фира заходила булькающим смехом. Похоже, она кокетничала.

Повалюков Голубчик откровенно презирал. Поговаривали, что Петро Повалюк имел некоторое отношение... Не принято было говорить на эту тему, никто не обсуждал открыто, но отчего-то этот внешне вполне безобидный человек внушал ужас маленькому Голубчику.

– Она опять была там? У этих людей! Боже, боже, – в голосе его дрожали трагические нотки, – горестно улыбаясь, он пожимал плечами, отворачивался к окну и становился похож на маленькую нахохлившуюся птицу.

– Марк Семеныч, родненький, ну никто же точно не знает! Вы там были, я спрашиваю? Вы видели? Ну нельзя же просто так подозревать человека бог знает в чем! Это сущий грех!

– Вера, сколько раз я просила не ходить туда!

Верой ее называла только Соня, – не Верунчик, не Верочка, а просто Вера, и собственное имя казалось Верочке ужасно некрасивым, – потупившись, в очередной раз выслушивала она Сонины назидания на тему, – «не есть у чужих», но, удивительное дело, в разряд «чужих» совсем не попадали ни Фира Наумовна, ни Марк Семеныч, то и дело украдкой втискивающий (то в горячую ладошку, то в кармашек платья) круглые тянучки или ириски. Порой соседи устраивали импровизированные «пирушки», и кто, если не Верочка, оказывалась самым желанным гостем?

– Присаживайтесь, барышня, – Марк Семеныч, обвязанный потешным фартуком (с вышитым на нем пестрым петушком), услужливо сгибаясь, подкладывал на высокий стул подушечку и, подхватив Верочку, торжественно усаживал ее на почетное место.

– Фира Наумовна, ну что ж вы, голубушка, запаздываете, – волновался он, маленькими, усыпанными коричневой крошкой руками передвигая – тяжелые изогнутые вилки, ножи, бокалы тусклого темного стекла, в котором отражалось янтарное свечение лампы.

– *Ништ гештойгн, ништ гефлойгн², их вэйс³* – прикладывая салфетку к губам, Марк Семеныч обменивался с Фирой странными словечками, отчего оба они казались посланниками какого-то несуществующего анклава, к которому некоторое отношение имеет и она, Верочка, и, соответственно, Соня и Илья. То есть правильной было бы сказать – формально несуществующего, но в Верочкином словарном запасе не было таких слов и понятий...

– Мама, а мы евреи? И я? – однажды поинтересовалась она, и интерес ее был скорее исследовательским, тем более что буквально на днях соседская Валечка – плотная, мясистая, будто бы состоящая из хорошо пригнанных друг к другу квадратов и кругов, с неровно подстриженной «под горшок» челкой и сонными глазами из-под бесцветных бровей, оповестила ее о том, что «*в войну в ихнем подвале прятали жидов*», – «ну, в смысле, вашей, еврейской нации», – добавила она, подметив Верочкино замешательство, – «ну, бабуся прятала, – там одна дивчинка была, и один хлопчик, так их все равно споймали, мамка казала, вон с того подвала, бачишь?»

² Ништ гештойгн, ништ гефлойгн (*идиши*) – небылицы (идиома).

³ Их вэйс (*идиши*) – я знаю (идиома).

С тех пор, проходя мимо подвала, Верочка, исполненная суеверного ужаса, старалась не смотреть на его проваленные, поросшие чахлой травой ступени. Когда дверь оказывалась приоткрытой, наружу просачивался страшный, могильный дух, в глубине оживали и двигались косматые тени, – впоследствии оказалось, что таким душком обладают практически все подольские подвалы, – более того, в них продолжают жить люди.

Позже Валечка, воодушевленная Верочкиной реакцией, сообщила, что в подвале пытали людей, и на стенках осталась кровь. «И трупачи». Что по ночам они (*трупачи*) ходят по двору и крадут детей.

Иногда Верочка воображала себя «той девочкой», из подвала, которая, держа за руку брата, выходила на свет божий, – бледная, худенькая, в истрепанном платье.

Конечно же, словоохотливая Валечка поведала ей о самом страшном, – дети обожают придуманные страшные истории, но только придуманные, рассказанные в темном закутке свистящим шепотом. Эти самые «*дивчина с хлопчиком*» жили в той самой квартире, в которой живут ее родители (Соня и Илья), Марк Семеныч Голубчик, Фира, Петро с Раисой, и она, Верочка.

В тот самый день, войдя в дом, Верочка, немедленно вообразив себя «той девочкой», стала искать надежное место, потому как то, что случилось раз, может повториться. Выбран был угол за комодом, потом сам комод, – в его сумрачной, но не лишенной уюта нафталиновой тиши и духоте просидела она минут пятнадцать, больше не выдержала, выскочив в тот самый момент, когда в комнату вошла мать. Задав пару вопросов, Соня, крепко взяв за руку Верочку, заверила ее, что никаких *трупачов* в подвале отродясь нет и не было, и мальчика с девочкой тоже. Квартира, – сказала она, – принадлежала людям, которые уехали, – сели в поезд и уехали в дальние края. Конечно же, Соня сказала правду, но не всю, утаив тот факт, что жильцы эти, покинув дом, так и не добрались до места назначения.

Наверное, для того страшные истории и существуют, чтобы проживать всю меру ужаса от начала и до конца, чтобы потом, выйдя на свет божий, забыть о них начисто, ну, не то чтобы совсем, – все же оставшийся где-то в глубинах подсознания страх давал о себе знать с наступлением сумерек, но летний двор, занавешенный накрахмаленным бельем, усеянный одуванчиками, сулил больше радостей, нежели страхов, и распахнутая настежь дверь «того самого» подвала обнаруживала такие тривиальные предметы, как старый самокат, прислоненный к стене велосипед с ржавой цепью, лысые шины, трехлитровые банки «закрутки» со сливовым и приторно сладким вишневым компотом, с вареньем из райских яблочек и дикой алычи. Разросшаяся акация давала мощную тень, и в этой самой тени Верочка, сидя за деревянным столом, укрытым цветной клеенкой, листала тяжеленный том Брэма, подаренный в восьмой день рождения.

Старый двор распахивал темные закоулки и подворотни, в которых чего только не было, – торопливо перебегающие дорогу ежи, тощие беременные кошки, искалеченные вороны.

Мать морщила красиво очерченные темнеющие на матовом лице губы. Отец трепал по жесткой пружинящей шевелюре и уносился по неотложным делам. Найденыши оживали, хорошели на глазах, а потом уходили (уползали, улетали) в свою взрослую жизнь.

У доченьки твоей руки-то золотые, – может, она и меня полечит? – незнакомая старушка пошатывалась в двери, – точь-в-точь сухая былинка, – да вы проходите, – я

позову, но глупости все это, – соседи болтают, – Верочка, к тебе, – насупившись, выползала она из закутка, в котором как раз некий доходяга лакал прямо из блюда, – вытерев наспех руки о платье, – слышь, говорят девчонка твоя навроде иконы, от болезней лечит, я бы в Почаево пошла, поползла бы, да не дойду, – я тут по соседству, хуже-то не будет, – пришелица возлагала на ее голову сухие ладони, и благоговейно вздыхала, – протяжным старушечьим вздохом, в котором что-то было от плача маленькой девочки.

Позже потянулись юродивые, их-то после войны оказалось навалом, – подвальные старушки, инвалиды-колясочники, – на что надеялись? – ведь ноги обратно не отрастут, – немые, слепые, – все они, оказывается, прекрасно ориентировались в подольских закоулках, – держась за стены, скользили, просачивались из опрятных монашеских двориков, – забинтованные наглухо старушки, – мать шарахалась, но Верочка никого не боялась, – деловито накладывала ладони на едко пахнущие головы, – господь благословит, деточка, – старухи совали в кармашек фартука липкие тянучки, – мать, опасаясь заразы, вытряхивала одежду.

Она вытянулась, истончилась, и лицо ее, несколько ассиметричное, с длинноватым носом, уже нельзя было назвать детским и милым, и красивым оно тоже не было, но глаза, глаза, – пожалуй, глаза брали реванш за все прочие несовершенства, – особую подростковую некрасивость, от которой, впрочем, Верочка ничуть не страдала, – скажем так, она больше сострадала, нежели страдала, да и времени на рассмотрение собственных несовершенств у нее не оставалось.

Отец хлопнул дверью, спустив с лестницы очередную малахольную старушку – совсем, что ли, спятили, – обычный ребенок, оставьте в покое, – Соня, гони всех взашей, – девочке учиться надо.

Школу Вера любила, а впрочем, и ее любили, – открытую и необидчивую. Самый заядлый враг замирал и сникал, напоровшись на бесхитростный взгляд зеленых с рыжиной глаз. Ругать ее было бессмысленно, обижать – бесполезно. Потому что, странное дело, – она не боялась, а только помаргивала как будто подпаленными ресницами, за которыми угадывалось простодушное ее естество.

Запретов Верочка не признавала. То есть она их слышала, но тут же забывала напрочь, и они, эти запреты, облетали ее безалаберную голову, точно тополиный пух, не чиня ни вреда, ни особой пользы.

Точно во сне досиживала она до конца занятий, усердно макая перо в чернильницу, а после прилежно собирала тетрадки и брела по улицам, погруженная не то чтобы в мысли, скорее, в неясные мечтания, впрочем, больше глазела, – как и любой идущий с уроков ребенок.

Напрасно разогревала Соня обед, потирала щеки, лоб, костяшки бледных пальцев, – заблудшее ее дитя шаг за шагом отдалялось от конечной точки путешествия, потому что чужие подворотни влекли гораздо более, чем бульон с лапшой и прокрученными фрикадельками.

Верочка вытягивалась, – ни в мать, ни в отца, – наверное, в незнакомую бабу Еву или Асю, – ни с одной из них Верочка так и не успела познакомиться, – вся родня дружно ушла туда, откуда возврата не бывает, – там все перемешалось – утонченность Евы, трепетность Аси, ученость деда Эммануила, а также неразборчивость в определенном смысле тети Шпринцы, ее кокетство, сладковатая конфетная красота, – точеный напудренный носик, округлый подбородок, обольстительные ямочки на щеках – вот, – смотри, Верочка, – твои ямочки.

Порой они являлись в странных полуснах, – выстраивались в шеренгу, – молчаливые, глазастые, – с отцовской стороны, понятное дело, каштаново-рыжие, а с материнской – бледнолицые шатены. Протягивали руки, все так же молча, пугая этим молчанием, и только, пожалуй, один, годовалый Додик, плакал, как плачут все дети его

возраста, – заходясь в прерывающемся крике, от которого Верочка вскакивала посреди ночи, в мокрой насквозь сорочке, потом долго лежала в темноте, объятая невыразимым.

– Ну что, прошвырнемся? – о, как обожала Верочка это отцовское «прошвырнемся», и следующее за ним бездумное блуждание по улицам, которые тотчас менялись, стоило им выйти за пределы двора.

Обыденная жизнь оставалась позади, – вместе с тусклыми зеркалами, в которых отражалась темная мебель, – сервант, комод, стулья с выгнутыми ножками, – переступив порог, Вера не оборачивалась, хотя знала, – там, за подвернутой занавеской, стоит Соня, грустная, со страдальческой складкой межбровья, – в ответ на приглашение, которое было скорее формальным (и Соня понимала это), она вымученно улыбалась и перечисляла список неотложных дел, и у них, беспечно уходящих в свой праздник, не было оснований не верить этому, – кроме всего прочего, праздник бы не состоялся, – повернув за угол, отец выдыхал (или это казалось только ей?) легкое облачко (вины, грусти, сожаления?), – худое подвижное лицо его разглаживалось, он явно молодеел и, шутя, подхватывал Верочку под локоток, – вы позволите, барышня? Прохожие провожали их взглядом, – улыбаясь, покачивали головами, – отец и дочь, – медно-рыжие, нескладные, являли миру столь беспечное, полное легкого обаяния зрелище, – по всему было ясно, как дружны они, как похожи.

Прогуливаясь по воскресному, праздничному Крещатику, они, не сговариваясь, сворачивали с улицы Свердлова на площадь Калинина, где находился магазин с самой вкусной газировкой в мире (в этом Верочка была твердо убеждена). Купив вкуснейших жареных пирожков с мясом или горохом, – «с какой-то дрянью» (непрерменно сказала бы Соня), запивали их газировкой с «двойным сиропом», переглядываясь, точно подростки, сбежавшие с уроков. Затаив дыхание, Верочка смотрела, как из прозрачных конусообразных колбочек с краниками будто по мановению волшебной палочки течет щекотно ударяющее шипучими пузырьками *сипро*.

Закусив нитку, Соня стрекотала старой швейной машинкой. Машинка досталась в наследство от бабушки Алты, – острой, пронзительной даже женщины с негибачимым бескомпромиссным характером и золотыми руками, благодаря которым семья никогда не бедствовала.

Она, Соня, даже и не смогла бы сформулировать, отчего все складывалось не так, отчего будто пеленой подернуто все вокруг. Проводила щеткой по тускнеющим, но все еще прекрасным волосам, – оттуда, из глубины, смотрела на нее молчаливая девочка с лилейной матовой кожей, – стройная, сосредоточенная и всегда немного печальная. Она мечтала, возможно, о чем-то несбыточном, и это несбыточное промелькнуло вслед за подводами с немецким «барахлом». И там, в купе поезда, там тоже было оно, – там была еще та самая задумчивая девочка, с нарядным щекастым пупсом на коленях, – вся в новом, с иголки, в неслыханном кружевном белье, с изящно подобранными, как будто облитыми молочной глазурью, стройными ногами.

Как не хочется стареть, – казалось, фраза эта сорвалась с материнских губ в каком-то почти беспомыслии, – сидящая напротив (склоненная над тетрадкой, – льющийся из окон свет, распахнутые ставни, разметавшиеся по плечам непокорные волосы), – как не хочется стареть, – взгляд Сони был обращен в никуда, – он был глубоким и одновременно

пустым, а губы двигались, с трудом выталкивая слова, – между матерью и дочерью не наблюдалось той степени близости, при которой они могли бы обмениваться подобными предложениями, и Верочка смутилась поначалу, но уже через мгновение волна жалости захлестнула ее любвеобильное сердце, – умеющая справляться с лишаями и бородавками, в этом она была бессильна, – как не хочется стареть, – повторила мать, взглядываясь в нечто невидимое за окном, – это было календарное начало весны, это и была весна, столь непохожая на ту, берлинскую, со взрывами, воем бомбежек, страшным заревом, но ...ощущением начала новой, захватывающей истории, неизбежного и близкого праздника.

Илья, такой стройный, ладный в своей гимнастёрке, затянутой ремнем, в начищенных сапогах, с огненной шевелюрой, которую зачесывал пятерней, обхватывал тонкие Сонины плечи, подводил к окну, – там бушевало пламя, и белозубые будто бы припорошенные темной пылью люди, взявшись за руки, исполняли странный танец, похожий на сиртаки.

Как для кого, а недолгая эта жизнь в пыльном, голодном, разрушенном городе на исходе войны отсюда казалась, пожалуй, самой счастливой. Зарево пожаров, взрывы, зияющие провалы в зданиях, и там, в этих черных провалах – внезапные и трогательные фрагменты вчерашнего, еще не обожженного войной, тленом и распадом человеческого присутствия. Покрытый слоем пыли инструмент, старинные часы с безвольно опущенной стрелкой, устойчивая добротная мебель (скоро двинется она в путь, одному богу известно, каким образом впишется в темные комнаты, обретя новую жизнь под новыми крышами и небесами).

Если бы писалась летопись всех происходящих в жизни событий, – нет, иначе, – если бы события жизни укладывались (стройным рядом знаков) в некую общую летопись, то Германия сорок пятого, безусловно, была самым ярким событием в истории Сониной жизни. Санитарные поезда, безмянные полустанки, крики, стоны, запах карболки и йодоформа, километры горя, сотни и тысячи километров боли. Закушенные губы, невидящие глаза, мальчишеские затылки, подернутые пленкой зрачки. Чаще всего ей приходилось быть свидетелем самого сокровенного, что есть в человеке. Соня принадлежала к числу деятельных и тем самым счастливых натур, которые, решительно отставляя в сторону страх, ужас, брезгливость, буднично подходили к исполнению сложных и даже (на первый взгляд) невыполнимых задач. Натянутая будто струна, бледная, большеглазая, она, подавляя желудочный спазм (но только поначалу), выверенными движениями срезала остатки одежды, гнойные бинты, – тонкие ее руки легко разворачивали, переворачивали, укладывали, – сестричка, да у тебя легкая рука! – ее появление сопровождал общий вздох облегчения, даже, казалось, воздух в вагоне становился легче.

– Выходи за меня, сестричка, – крепко любить тебя буду, – о, сколько раз слова эти рождались (под ее руками), выдыхались вместе со стоном, точно последнее «прости» или «люблю», или «прощай», но ни одно из них не задевало ее, разве что по касательной, будто все ее женское, юное, жаркое застыло, перестало быть и отзываться, впрочем, вероятно, от стресса и недосыпания, прекратились месячные, не только у нее, и других сестричек и санитарок тоже. Но не только это. Вид человеческого страдания, развороченной плоти, сгущение этого плотского, обнаженного, беззащитного, пробуждал совсем иные чувства.

– А сестричка-то наша, евреечка, навроде иконы, братцы, – глядит, и так делается боязно, и легко, и...

Обычно произносимое со сладким причмокиванием «евреечка» здесь звучало иначе, – скорее, уменьшительно-благоевейно, и Соня, застыв на пороге, в одно мгновение успела испытать гамму разнообразных чувств – голос принадлежал тому

самому молодому лейтенанту Коковкину Васе, который еще ночью, прижавшись к прохладной Сониной ладони пылающей щекой, тихонько стонал. О том, что он плачет, догадалась она, ощутив горячее жжение на руке. Обычно резкая, она даже не дернулась, не повела бровью, глаза ее оставались участливо-серьезными, немного отстраненными, руки привычно «делали свое».

Круглолицая задорная Тося, санитарочка, протягивая кружку с кипятком, плюхнулась рядом, – лицо ее, составленное целиком из каких-то неправильностей, – глаза маленькие, щеки круглые, нос картошечкой, все же было милым, детским и смешливым, – с Соней она немного робела вначале, – вот строгая вы, Софья Львовна, только не сердитесь, вас даже раненые знаете, как прозвали? Только поклянитесь, что не сдадите! Жидовской иконой, – ну, виданое ли дело? Такое придумать...

Соня улыбнулась уголками губ, – она к тому времени находилась почти что в фазе бессознательного, – легкого полусна, и потому Тосино сообщение не получило должного резонанса, – Тося, ты иди, я вздремну хоть полчаса, – кликни, если что...

«Если что» случилось через те самые полчаса. Не стало того самого лейтенанта Коковкина, чем-то неуловимо похожего на Тосю, – то ли детским простодушным лицом, то ли россыпью веснушек на вздернутом носу.

Однако, странное несочетаемое сочетание слов закрепилось за ней, – и вправду, нечто иконописное было в ее тонко прописанном, тихом лице – разлет бровей, высокий чистый лоб, но не это, не это, пожалуй, некое умиротворяющее чувство, которое возникало с ее появлением.

Именно то самое чувство коснулось и молодого, блестящего, смешливого и какого-то моментально «своего», во всех возможных смыслах, – бесстрашного военкора, рыжего, тощего, смешливого, и «военно-полевой» роман, как это принято называть, собственно, и романом не успел стать, не до букетов и конфет было им, матерым, выдавшим и пережившим войну во всех ее видах. Не было времени на роман, и потому отношения их стали законными буквально при первой возможности, – потом, по прошествии лет, Соня не могла вспомнить многого, в том числе и нежной влюбленности, и первой неловкости, – главным было то самое первое и верное – при виде ассиметричного смешливого лица – свой. Свой, своего роду-племени, будто мальчик из соседнего двора (по сути, так оно и было), – единственное, что могло связывать ее, Соню, девочку из приличной семьи, с прошлой довоенной жизнью. Потом, много позже, этот период будет вспоминаться какими-то всполохами и островами редкой безмятежности между ними.

Война смещает акценты, расставляет приоритеты, и даже самое страшное воспоминание о родителях и сестрах, которые остались в тылу, в родном доме, – в Сонином сознании эта беда как будто отодвинулась, и несколько полная, страдающая одышкой мать, и отец, высокий, сутулый, с докторским свои саквояжиком, известный в городе детский врач-педиатр, и сестры – шумная, веселая Любочка и меланхоличная, будто заторможенная Лия – так и оставались полными жизни и мельчайших подробностей ее, – как ни силилась она, но сознание выталкивало, – не само известие о свершившемся, а именно итог – полное и безоговорочное отсутствие их в ее, Сониной, жизни. Упрямая, тихая, любимица отца, она всегда выделялась (на фоне сестер) не миловидностью, а законченной, отточенной, выверенной красотой, будто в жилах ее текла кровь иудейских царей, и часто отец, любуясь подрастающими девочкам, останавливал свой пытливый взгляд на ней, средней.

Верочка родилась в Берлине, и, несмотря на кровь и разруху, появление ее сопровождало чувство необыкновенного триумфа и жажды. Так и бурлила кровь в ожидании новых, мирных и счастливых времен, и все последующее за беременностью,

родами (уже в Берлине), взятием рейхстага, пылью, прахом, кровью, разрушением, казалось заслуженным праздником.

– Взгляни, Соня, – лицо Ильи озарено лукавой улыбкой, – вот, примерь, это и еще вот это, – в руках его переливался ворох немислимых платьев, жакетов, блуз – все было сверкающим, новым, и так замечательно идущим к ее лицу, фигуре, – едва заметное глазу прибавление в весе ничуть ее не портило, – прикладывая то одно, то другое к груди, она любовалась отражением в зеркале, а главное, в глазах Ильи. Не то чтобы она не понимала. Возможно, так же, как сознание выталкивает страшное, непереносимое, подобным образом оно поступает и с очевидным.

– Пстой, Илюша, погоди, куда мне столько, – она смеялась, запрокинув каштановую голову, причесанную по последней моде, – с небольшим валиком волос над гладким без единой морщинки лбом, – на фоне чужого дома с добротной мебелью, картинами и сервизом, Соня будто сбросила всю свою внешнюю строгость, холодность даже... На удивление легко обживалась она в буржуазной этой обстановке, и все это шло ей, шло, – кресла с подлокотниками, тяжелая скатерть, подсвечник, высокое зеркало в прихожей.

– Пстой, Илюша, но ведь это...

Одна и та же мысль кольнула обоих, но осталась невысказанной. Там, за тысячи километров от этого дома, тоже была мебель, хоть и не такая добротная, утварь, на плечиках висели новые и ношенные платья, и чьи-то руки перебирали их, безошибочно угадывая размер.

За мародерство судили, ходили слухи о страшных преступлениях, глумлениях даже, но какое все это имело отношение к ним? Чужой временный дом, чужие вещи. Не покидало ощущение чужих глаз. Иногда чудились звуки. За стеной разучивали гаммы, немислимое дело, – кому придет в голову разучивать гаммы во время пожара или наводнения! Невидимая детская рука, спотыкаясь, повторяла одну и ту же музыкальную фразу, – в ней Соня с радостью узнала «Лебедя» Сен-Санса⁴, которого разучивала, безбожно истязая инструмент, перед выпускными экзаменами. Порой, впрочем, та же рука, несмело охватывая ряд клавиш, брала несколько глухих аккордов в тональности си-бемоль минор, и, после небольшой паузы, гнетущая тишина проливалась чистейшей шопеновской меланхолией, – нет, играл не ребенок, – скорее, пожилой человек, – медленно, будто восстанавливая по памяти отголоски каких-то давних времен

Соседи, – прихрамывающий мужчина с тросточкой, с внимательным взглядом светлых глаз (наблюдая, как он переходит дорогу, ощупывая тросточкой развороченные булыжники, аккуратно перенося, по всей видимости, «плохую» ногу, над опасным участком, Соня замерла, тотчас увидев отца, всегда прихрамывающего и оттого не расстающегося с тяжелой тростью), будто присыпанная рассыпной сладкой пудрой старушка, по всей видимости, его родственница, возможно, сестра, уж слишком они были похожи, – отчужденно-вежливые, при встрече (а она была неизбежна) отводили одинаковые серо-голубые глаза, в которых, боже правый, не было ненависти, – пожалуй, только безысходность.

Возвращение не было триумфальным. В бывшей квартире известного на весь город детского врача Льва Борисовича давно обосновались незнакомые люди, и появление Сони

⁴ «Лебедь» – пьеса Камилля Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных».

не вызвало у них особой радости. Через большую комнату (гостиную) натянута были бельевые веревки, на которых сохло исподнее, пахло чужим, чуждым, – то ли кислым борщом, тестом, то ли просто чужой стиркой и бытом. Худая, изможденная, но не старая еще женщина смерила Соню недобрый взглядом, отметив и чулки на стройных ногах, и жакет, и нарядную девочку в лентах.

И чего только ищут, – мы уж не первый год живем, а хозяев нет прежних, – вытирая руки, она, обернувшись, крикнула кому-то в дальней комнате, – да тут жильцов бывших спрашивают, а я и говорю, нет их давно, вы в паспортный стол идите или в милицию, гражданка, там и разбирайтесь.

Плоское желтоватое лицо показалось Соне довольно знакомым. Уже выйдя за порог собственного дома, она вспомнила – новая жиличка как две капли воды похожа была на дворничиху Катю из соседнего дома. Там жила бойкая, смуглая, похожая на цыганку, Рита Кармен, ее близкая школьная подруга. До войны Катя с детьми ютилась в крохотной пристройке, примыкающей к черному входу с тыльной стороны дома.

Странное дело, ни разу с момента ужасного известия Соня не заплакала. Горе ее было невыразимым каким-то, глубоко спрятанным, будто ледяная глыба на дне колодца. Возможно, на выражение скорби, гнева, недоумения просто не было времени. И все же, отчего папа не уехал, ведь ему предлагали, и даже настаивали, – неужели он не успел, или... не захотел?

Конечно же, Сонино решение об отъезде на фронт было ударом для отца, – мягкого, но отнюдь не слабовольного человека, всегда пребывающего в ровном расположении духа, – за это и любили его маленькие пациенты и их родители, – за сеть добрых морщинок, за почти незаметную хромоту, за аккуратную тросточку, очерчивающую круг в воздухе, – за неизменное – «кушать, спать, кушать», – эту выведенную однажды формулу хорошего настроения и самочувствия.

– А кто это у нас тут больной? – тщательно вытирая свои всегда безукоризненно чистые пальцы, – строгие, суховатые, с безукоризненно подпиленными ногтями (даже с закрытыми глазами Соня видела его руки, ладони, запястья, – небольшие, довольно изящные, крепкие, и ощущала их ровное родное тепло), он присаживался на краешек постели, и маленькая Соня крепко зажмурилась от удовольствия, потому что Любочка и Лия спали, и все внимание доставалось ей одной.

Устроились временно в крохотной восьмиметровой комнатке у дальних родичей, – те как раз не так давно вернулись из эвакуации. Вещи и мебель хранились на складе, потому как в квартире Ильи тоже жили люди, да и квартира эта только называлась гордо – квартира, а так – те же восемь метров.

Промаявшись с месяц на сундуке, они получили все же ордер (увы, комната эта тоже принадлежала кому-то, но так уж устроен этот мир, все однажды было чьим-то). Некоторые военные заслуги были все же учтены в горисполкоме.

Как-то приснилась Верочке то ли баба Ася, то ли Ева, то ли прабабушка Алта – она, не встретившись в своей жизни ни с одной из них, иногда отчетливо видела их, но чаще молчаливыми, будто бы проступающими из темной стены.

В последний раз – видимо, это все же была баба Ева, – материализовавшись из этой самой стены, произнесла внятно: – мы выбранные богом, и никогда не умрем.

Отчего-то послание это наполнило Верочку тайной гордостью, она не торопилась делиться открытием ни с матерью, ни с отцом, – конечно же, они бы выставили ее на посмеище, не сочтя откровение достойным внимания.

Верочкина мечтательность, несобранность, абсолютная иррациональность была притчей во языцех, и если отец, по обыкновению своему, подтрунивая и посмеиваясь, потакал ей и даже всячески покрывал (да, у дочери и отца имелись общие секреты), то Соня, оставаясь в одиночестве, наполнялась тоскливым недоумением, – дочь была полной ее противоположностью, – все, в чем Соня видела стройность и тщательно продуманный порядок, с появлением Веры обретало пугающую очевидность хаоса. Все шло не по плану, предметы разбегались, терялись, часы останавливались, ни в чем не наблюдалось постоянства. Стоя у окна, Соня наблюдала за идущей медленно и будто пребывающей в мире грез девочкой, – вздымая облака пыли, переступают длинные, бестолковые какие-то ноги в сползающих чулках, мелькает за деревьями всклокоченная шевелюра, – увы, ее дочь не отличается аккуратностью, для будущей девушки это совсем нехорошо.

Пап, а что значит – *выбранные богом*?

Илья, с виду легкомысленный, умеющий извлекать удовольствие из обыденного, остановившись резко, внимательно посмотрел на Верочку, – ты где это взяла? – дело в том, что выражение это он помнил из каких-то уже несуществующих времен, довоенных, то ли от бабушки, то ли от матери, которая с настойчивостью повторяла его, приводя в некоторое смущение окружающих, – тема божественного изъяснения была не слишком популярной, и казалась неким анахронизмом, не имевшим под собой основания. Где бог, а где комната в коммуналке со стоящей у окна швейной машинкой, над которой, склонясь, сидела близорукая Ася... Перекусывая нитку, она повторяла: – наш род *выбранный богом*, а бог знает, кого охранять, И, видит бог, – если и дано было некое обещание, если и было оно скреплено кровью, то все и правда складывалось относительно неплохо. Жили скудно, но достойно, не впроголодь, пережили страшные времена, вырастили, чтоб не сглазить, детей...

О чем думала Ася по дороге к тому самому месту в сентябре сорок первого, – неужели и тогда не забывала она о невидимой связи со Всевышним. Если и помнила, то вряд ли помнил он, видимо, отвлекшись на более срочные дела...

– Откуда ты взяла это, Верунчик?

Загадкой было то, что Верочка никогда и нигде не могла слышать этих слов и интонаций, – в их семье довольно редко, можно сказать, никогда не было упоминаний о божественном присутствии, и, уж тем более связи с ним.

К способностям Верочки Илья относился с некоторой насмешкой, полагая их некой блажью и чем-то проходящим, несерьезным.

Растрепанная Верочкина голова (ну, не приживался на ней порядок, все шпильки и зажимки вылетали, так и не успев закрепиться в густых проволочных волосах) была какой-то несерьезной, не исходило от нее послушания или прилежания, и если для Ильи это было только поводом для дополнительного обожания, то со школьными учителями дело обстояло иначе. От Верочки пахло бунтом. Взять хотя бы этот пылливый, исподлобья, взгляд. Закушенная нижняя губа, тонкие всегда исцарапанные запястья, схваченные не очень чистыми манжетами. В глазах Ирмы Бруновны, классной, Верочка была источником беспокойства.

Высокая, прямая, с туго затянутой талией, с аккуратно заколотым платиновым калачом над высоким чистым лбом, с несколько высокомерным выражением блекло-голубых глаз, Ирма Бруновна с некоторой брезгливостью смотрела на рассеянную, абсолютно несобранную девочку, от которой и пахло как-то не по девичьи, – брошенными

уличными псами, воробьями и чем-то еще, совершенно неопределимым, но внушающим тревогу. Школа представлялась ей (Ирме) строго расчерченным полем, по которому двигались (будто шахматные фигуры) будущие обитатели Вселенной, пока что еще неоформившийся материал, из которого ей, Ирме, надлежит, точно скульптору, извлечь все самое ценное и полезное для этого мира. Даже заводилы и бунтари ходили по струнке под холодноватым оценивающим взглядом. Но Верочка была совсем не бунтарь. Училась средне, спустя рукава, была невнимательна и незлобива. Но... как бы это сказать, – все формальное отскакивало от нее, и исполосованный красным дневник, похоже, не внушал ей тревоги или страха. Она не боялась. Не боялась даже мыши, прошмыгнувшей по классу во время контрольной по алгебре. Весь класс визжал, подобрав ноги, а круглые Верочкины глаза с любопытством естествоиспытателя следили за несчастной мышью, выпущенной, конечно же, не просто так, за десять минут до конца контрольной.

Не раз проходила Соня мимо кирпичного трехэтажного здания, в торце которого все еще красовалась вывеска с полустертой надписью «*Аптека Габбе*».

Конечно же, она прекрасно помнила хозяина аптеки, и его дочь Лизу, библиотекаршу, ну да, ту самую, хромую, о которой всякое болтали, – что, мол, мужа увела у живой и молодой жены, еще и с ребенком, это же такой скандал, такое безобразие... Но дальше слухи уходили в песок, – слишком много воды утекло, другие события, гораздо более масштабные, заслонили тривиальную историю адюльтера. Жены, мужа, любовники, их дети, родители, золовки и зятя, – всех их постигла участь... Здесь Соня ускоряла шаг, как будто пыталась убежать от чего-то.

С возвращением в город, все, отдаленное расстоянием, насыщенностью событиями, полнотой, приблизилось с обескураживающей ясностью, обрело объем и глубину. Вот он, дом, вот вывеска, вот трамвайные пути, вдоль которых шли они. Папа, Лия, Любочка, Ася.

Помнишь, Сонечка, счастливый билетик? Воскресный день, ярмарочное веселье, лошадок, карусель, остроглазую, укутанную в пестрый платок цыганку? Ее долгий взгляд, полоснувший невысказанным?

Счастливой будешь, богатой будешь, красавица, – удаляясь, бормотала она. Отец, посмеиваясь, – ни в какие предсказания он, разумеется, не верил, протянул всем троим – Соне, Любочке и Лие – по брикету вкуснейшего сливочного пломбира.

И все же – вдруг дочь аптекаря жива? По-прежнему выдает книги в районной библиотеке, сдерживая улыбку, заполняет формуляр? Окуная перо в чернильницу, выводит ряд фиолетовых букв со старательным нажимом? Фарфоровой прелести лицо, его немного портили крупные чуть выступающие зубы...

Вывеска висит, похоже, кто-то даже подкрасил буквы, но внутри (видно сквозь стекло) молодая девочка-провизор отпускает порошки. Куда-то подевались словоохотливые старички «в пикейных жилетах и мягких шляпах». Хотя, впрочем, уже в первые послевоенные месяцы эвакуированные стали возвращаться. Вернулась Дора с пятилетней дочерью из Ташкента, вернулась семья (почти в полном составе, если не считать пропавшего без вести сына) Слуцких. Случаются же чудеса, в самом деле! Вернуться в собственный дом, да, пусть заброшенный, пусть полупустой, но найти в том же самом месте, допустим, настенные часы с кукушкой... Ах, Соня, Соня, сознайся же, к чему тебе глупая кукушка... Неужели только для того, чтобы вспомнить тихий, ничем не примечательный вечер, и отца, который, приоткрыв резные дверцы, подтягивает гирьку в часах?

Неподалеку от Житнего бродил старик, совсем старик, довольно-таки неопрятный, заброшенный с виду, это был печально известный *Миша Отдай Калошу*, – почему, собственно, калошу, было понятно с первого взгляда, к Мишиным ступням прикручены были старые грязные калоши, – видно было, что надеты они на босу ногу, а прикручены бечевками потому, что слишком велики. Не раз и не два сердобольные прохожие пытались осчастливить беднягу более приличной обувью, но, видимо, это совершенно не совпадало с его планами. Он гримасничал, растягивая исколотый грубой щетиной беззубый рот. Совсем безобидный, если опасным не считать тот факт, что от Миши довольно сильно пахло. На рынке его подкармливали, впрочем, день на день не приходился. Иногда били, довольно жестоко, хотя чтобы заполучить потешную пантомиму с прижатыми к голове ладонями – «Миша боится», его совсем не нужно было бить. Достаточно было шугануть хорошенько, а после – насладиться зрелищем семенящего мелкими шажками человечка в калошах и драном кашне, наверхенном на выступающий покрытый седой щетиной кадык. Внешне Миша был «типичный жид», вечный, карикатурный, с крючковатым носом и глазами подстреленной лани, – его весело было шугать, чем всюпользовалось местное хулиганье, впрочем, не очень зверствуя, до первой крови.

Увидев семенящего по наледи человека в калошах на босу ногу, отец, порывшись в глубоком кармане пальто, достал несколько медяков и, вложив их в Верочкину ладонь, слегка подтолкнул ее, – чуть оробев, девочка приблизилась к приплясывающему Мише.

Вместо того чтобы протянуть руку, тот резко отшатнулся и, обхватив голову, застонал, – голова болит, голова, Миша боится. Под носом его застыла сукровица, глаза обильно слезились.

– Пап, скажи, у него кто-нибудь есть? У этого человека? Где он живет? Видишь, пап, кровь, его били...

Внятного ответа на эти вопросы, конечно же, не было, – впервые в жизни отец смутился и не нашелся что ответить, – видишь ли, Верунчик, таких людей немало...

Вначале Миша, позволивший (всем на удивление) Верочке взять себя за руку, все еще пытался сбежать. Однако неожиданно смирился и, ведомый маленькой решительной рукой, двинулся вдоль трамвайной линии. Странно, должно быть, выглядели эти трое, – высокий мужчина в верблюжьем пальто, девочка-подросток, старик в калошах на босу ногу, покорно идущий вслед за девочкой. Уже свернув в переулок, ведущий к дому, Миша заметно занервничал. Он вновь обхватил свою голову, покрытую свалывшимися пегими волосами, вскрикивая бессвязно, – Миша не помнит, не помнит...

Воркующая у кухонного стола Раиса пискнула (точно мышь) и стремительно исчезла за дверь, заявив, что выйдет только в одном случае, да и то после хорошей дезинфекции помещения.

– Ну, допустим, – примирительно сказал вышедший на шум Марк Семеныч, – что ты предлагаешь, *цигалэ*⁵? Поселить его на моей голове? Нет? Тогда на чьей? Твоей? А где он будет спать, этот, извиняюсь, *нэбэх*⁶? На полу? В твоей постели? Сонечка, голубушка, подите сюда, вы только взгляните на эту сестру милосердия и вашего драгоценного супруга, они зарежут нас без ножа. Фира Наумовна, взгляните на этого, я извиняюсь, *фэртл оф*⁷. Это же чистый каприз. Головная боль, не более того! Илья Ефимыч, вы же

⁵ Цигалэ (*идиш*) – козочка.

⁶ Нэбэх – (*идиш*) бедняга.

⁷ Фэртл оф (*идиш*) – доходяга, четвертушка курицы (буквально).

умный человек, как вы могли позволить девочке привести это в дом? Хорошенькая *мицва* (доброе дело, совершаемое накануне шабата), я вам доложу...

Соня (вопреки предположению Марка Семеныча), ничуть не испугалась. Ей ли было бояться грязи, вросших в кожу ногтей, дурного запаха. Что-то кольнуло ее при виде стоящего на пороге человека с прижатыми к голове руками. Решительно водрузив на плиту большую кастрюлю, она скомандовала, – Марк Семеныч, давайте уже без паники, что за *клоц кашэс*⁸. Лучше помогите, с остальным разберемся. Илюша, достань с антресоли лохань, и... уведи Верочку в комнату.

Лохань, в которой когда-то купали Верочку, сгодилась и для взрослого мужчины, сидящего в ней с крепко прижатыми к впадой груди коленями. По телу его пробежала крупная дрожь, по лицу стекали струи горячей воды.

Прохаживаясь мочалкой по выступающим позвонкам и опущенным покорно плечам, Соня терялась в мучительной попытке соединить несоединимое, уловить и зафиксировать то самое, кольнувшее ее в первый момент... На поверхность выныривало нечто далекое, полузабытое, – прихрамывающее звучание инструмента, разбегающиеся под сильными бледными пальцами клавиши. Прозрачайшая трель взлетала и оседала, будто золотая пыльца, и все вокруг преисполнялось хрупкости и тишайшего какого-то звона. Позже Сонечка узнает, что у золотой пыльцы существует название. Си-бемоль минор.

В утробе громоздкого чудовища гудели струны, переключаясь со стоящей за дверцами серванта фарфоровой посудой.

– А вот это, девочка, – пиццикато, – если коснуться струн, инструмент может звучать как скрипка, или виолончель, он может быть клавесином, органом и даже целым оркестром.

– Какие воспитанные барышни, – смеется человек, поглядывая на застывших у стола девочек, – жгуче курчавый, горбоносый, склонившись над рядом клавиш, он извлекает звуки различной тональности и глубины, и вдруг лицо его из напряженно сосредоточенного становится почти ликующим.

Вот она, та самая западающая клавиша, сиреневая си-бемоль...

Одетый в старые кальсоны, пальто (то самое, верблюжье) и брюки отца, обхватив костлявыми сильными пальцами стакан с горячим чаем, Миша застыл, как будто внезапное тепло обездвижило его, лишив необходимости постоянно приплясывать, гримасничать и нервно потирать ладони. Лицо его, тщательно промытое от нескольких слоев присохшей грязи и крови, оказалось далеко не таким уж старым, более того, оно разгладилось и посветлело. Взглянув на притихшую Верочку, – как будто увидев ее впервые, он слабо улыбнулся, – какие хорошенькие барышни...

Входная дверь хлопнула, в дом, тяжело ступая, вошел Петро Повалюк. Он шумно дышал, разматывая кашне (не иначе как добрые люди в уши донесли). И правда, – не соврали. Мыльная пена на полу, сваленный в углу ворох тряпья.

– Это что за *смиття*⁹, я спрашиваю, кто позволил? Это же сумасшедший, туберкулезный больной! Вы хотите заразу в доме? Илья Ефимыч, ну, я от вас не ожидал, ей богу, – вы же военный человек, зачем водить в дом всякую *гидоту*... – заверещал он на

⁸ Клоц кашэс (*идши*) – дурацкие вопросы.

⁹ Смиття (*укр.*) – мусор.

одной ноте, заведя сидящего за столом нежданного гостя. И тут случилось то, чего никто не ожидал, – блаженный и светящийся чистотой Миша, поднял на Повалюка глаза (абсолютно осмысленные).

– Это тебя надо в милицию, сволочь. Я узнал тебя. Узнал.

Тело его, поджарое, костлявое, взметнулось навстречу внушительной фигуре Повалюка, но, ловко скрученное одним мощным захватом, жалко обвисло.

– *От же ж курва*, – почти добродушно усмехнулся Повалюк, отряхивая добротное пальто, отороченное бобровым воротником.

– Голова, у Миши голова болит, – Мишины глаза блуждали, пальцы с обломанными синими ногтями царапали клеенку.

Несмотря на рыдания Раисы, которая, сморкаясь, уверяла, что это какая-то ужасная ошибка, и нельзя верить первому встречному с улицы, – она даже вынесла медаль «за отвагу», утопающую в бархатной алой подушечке, и пригрозила, что сообщит в «органы», к которым Петро имеет, слава богу, некоторое отношение, – события разворачивались стремительно, и отнюдь не в пользу Повалюка.

Миша Отдай Калошу оказался не единственным свидетелем. У него не было документов, но нашлись люди, которые хорошо помнили его, человека без прописки и карточек, и эти самые люди признали в нем настройщика музыкальных инструментов, который скрывался в подвале желтого кирпичного дома вместе с двумя детьми, мальчиком и девочкой.

Память же самого Миши, столь избирательная, столь зыбкая, сгодилась только лишь на то, чтобы соединить несколько западающих клавиш, восстановив тем самым законы гармонии, которая существует, вопреки всему.

ЗЕЛЕННЫЕ ЯБЛОКИ СЕЗАННА

Новеллы

Осколок

«Глянь, как зыркает. Я те позыркаю. Смотрит как волк. Нехристь». Таков был вердикт этих достойных женщин. Большая часть из них говорила на суржике, закалывала на затылке жидкую дулю, и все вместе они слились в одну полную на тяжёлых ногах, которая, кряхтя, моет полы, говорит «дывысь», и не любит меня. Просто не любит. Почему-то не любит меня, ту, которую любят папа, мама и бабушка.

К сожалению, я не очень помню. Вдруг они всё-таки любили других детей. Но если бы это было так, наверняка я бы об этом помнила. Нет, не было никакой любви в мире унылых каш и тягучих киселей. Не было ее в баке с компотом из сухофруктов. Не было в толстом омлете, в жидком гороховом супе, в синеватом картофельном пюре.

Не было ее в глубоком бидоне, который волокли по коридору две хохочущие (не для меня) нянечки. Ни в тихом часе, ни в мертвом свете зимних ламп, ни в новогоднем утреннике, ни в молочных пенках, над которыми роняла я слезы неподдельного и

неизбывного горя. Ну, откуда же было им знать, что у нехристи этой наверняка непереносимость лактозы! И было ли в их лексиконе слово такое – лактоза?

Пытаюсь вспомнить лица. Хотя бы одной. Нет, не было лиц. Круглые расплывающиеся блики, пятна, громоздкие силуэты. Отчего старуху Ивановну с первого этажа я помню в мельчайших подробностях, отчего помню горбатую Любочку из соседнего подъезда? Я даже помню её зятя и дылду дочь, и даже маленького несчастного Илюшечку помню.

Я помню стриженную под горшок девочку Валю, которая говорила «мясо», «дадишь», «верьевка», я помню тяжёлую дверь подъезда, и как она открывалась (сопротивляясь холоду) зимой, и как ударял в грудь и лицо острый воздух.

Я помню тягучее слово «ангина», горло, обложенное плёнками, жжение горчичника под лопаткой, и этот густой ненавистный запах его (сквозь жар и бред). Пальцы нащупывают обезьянку Жаконю (о, сколько в Жаконе любви, с какой готовностью она, то есть он, прижимается ко мне), иди же сюда, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку. Рассаживаю полукругом кукол, читаю им книжки. Книжки-растрепки, – смеется папа, и в этом столько любви.

В комнату вливается малиновое облако, оно накрывает меня, вынуждая глотать, о, как больно и сладко, как горячо. Чьи-то руки взбивают, переворачивают подушку, вытаскивают градусник. Прохладная рука на пылающем лбу.

Я не пойду в садик? И в школу не пойду? Ни завтра, ни даже понедельник? Ведь ты не дашь им забрать меня, этим чужим людям из казённых домов со слепыми окошками?

Мама смеётся, качает головой, она разрешает мне оставаться в постели с Жаконей, сколько я захочу (в то зимнее зябкое утро), из кадра уходит тягостная повинность, и это безусловная любовь. Утешенная, распаренная, забываюсь, не выпуская маминой руки.

Помню осколок разбитой чашки и чувство непоправимого. Какое тяжёлое, давящее детское горе. Как теснит оно грудь, как жжет под ресницами.

Вечер. Бабушка наряжает меня в какие-то «гости». К каким-то ее (их с маминым отчимом) знакомым, в темные улицы, в душные комнаты, во что-то чужое и неприятное мне. Там накрытый темной скатертью стол, лица, которые я не помню, зудящие голоса и тяжкая, монотонная, непереносимая скука. Я даже готова идти в сад, лишь бы не ходить в эти «гости» к незнакомым вздыхающим людям. В тот вечер все темное, все ненужное, от глубокой тоски мне хочется громить и кромсать все вокруг, и я хватаю тупые ножницы и с наслаждением высверливаю дыру в нарядном и тесном платье.

Ах, сколько любви в солнечном свете! В виноградной лозе, опоясывающей синий балкон. Я купаю пупса, переворачиваю его так и этак, обертываю носовым платком, вытираю насухо. Немного важничаю. Конечно, мой пупс точно такой, как у других девочек. Все точно такое. Ванночка, пупс, какие-то обрезки материи. Это целая жизнь. Огромная летняя жизнь.

Мне выносят стульчик на улицу, во двор, и я воображаю себя билетером. Как будто подъезд это кинотеатр. Я раздаю билетки. Люди смеются моей изобретательности. Кто-то хвалит, – какая сообразительная. Я важно нарезаю бумагу квадратиками и пишу на ней буквы. Это ваш билет, говорю. Пятый ряд, седьмое место.

Почтальонша смеётся, поблескивая металлом. Что-то беспокоит меня.

«Мама, у всех бывают железные зубы? Ведь это же так некрасиво!»

Впрочем, у многих встречаются золотые. Полный рот золота. В нашей семье ни у кого нет ни золотых зубов, ни железных, и это несколько утешает меня.

Вечер. Родителей нет, их так долго нет, что я ощущаю сквозняк. Сиротство. Особенно, когда бабушка пытается накормить меня булкой, размоченной в молоке. Если вы хотите сделать вашего ребенка абсолютно несчастным, накормите его тюрей.

Бабушка, сейчас (кричу я) такое не едят! Это старая еда! Это для старых! Для железных зубов!

Булка плавает в молоке, будто распухшее шестипалое чудовище. Я слышу, как тикают ходики, как одиноко тикают ходики, как надывается изношенный часовой механизм, приводящий в движение Вселенную.

Мирзолзайн, – говорит бабушка, и я забываюсь горьким и беспросветным сном. В этой соседней комнате (которая как другое государство со своими законами и порядками), живут другие сны. Они тяжёлые и душные... Стараюсь не думать про розовую челюсть (бабушкиного мужа), которая плавает в стакане с мутно-белесой водой. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за бабушкой, – она бормочет, вздыхает, то сидя на стуле, то тяжело ступая по полу, переставляя, перекладывая какие-то предметы. Это как долгий безутешный плач, как жалоба, которая останется безответной.

Одна надежда на утро. Я вернусь в наш светлый залитый солнцем мир, в котором книжки, растрёпанные журналы и ленты от бобинного магнитофона. Там нараспашку окна, там пахнет яичницей-глазуньей, там юные люди танцуют твист и ча-ча-ча, и почему-то смеются, глядя на стоящую в пижаме сонную меня.

Желтый свет

Разрозненные крупички так и остались репликами, вырванными из контекста. Память то и дело подбрасывает щемящее, – не голые факты, нет, – скорее, ракурс, интонацию, – будто рентгеновский снимок на просвет с проступающими там и здесь подробностями.

Мне часто снится дом. Его запах, совершенно неповторимый, его неоткуда добыть сейчас, – кстати, я пробовала, стоя у ворот, перекрывающих дорогу к несуществующему дому. Замок, тяжёлая цепь на нем создавали некую иллюзию. А вдруг его всё-таки не снесли? Вдруг там, за чугунной оградой – остановившееся время? Те самые скошенные ступеньки (да, всего три, не больше), ведущие в длинный коридор (осторожно ступая красными ботиночками, заглядываю в его разверстый зев). Оттуда, в неясно расплывающемся свете проступают (будто прорывая пленку тьмы) лица. Тети Лизы (нежно семенящей своими крохотными ножками), всегда с повернутой к вам «джиокондовской» полуулыбкой (из боковой комнатки – целый мир с обилием деталей), – пронзает мысль – как умудрялись они разместиться на столь ничтожной площади – как помещалась в ней целая жизнь со всеми ее коллизиями, значимыми и не очень событиями, явлениями, предметами – статуэтка балерины, тяжёлые тома Брэма (вот я, забравшись с ногами на кушетку, листаю один из них, предвкушая нескончаемое удовольствие).

Как умещалась в этой комнатке тетя Лиза (миниатюрная женщина с явным физическим недостатком – у нее был горб, правда, почти незаметный, не нарушающий гармонию ее образа), ещё можно понять. Но как умещался там дядя Даня – исполин с детской улыбкой и огромными добрыми руками?

Разыгрывающий скетчи (кушать подано, мамзель) в поварском колпаке, с глупой подобострастной улыбкой склоняющийся к ножкам юной мамзели, хохочущей взахлёб.

Откуда же мамзели было знать, что за целым спектаклем (застеленный белоснежной скатеркой табурет, на нем чугунная сковорода с двумя яичными глазками, –

божественность ритуала, его щемящая сквозь годы подробность, всплывающий в комнатку аромат глазуньи, явственность желтков) – за всем этим скрывалось тривиальное – накормить гостью, сотворить невозможное, выстроив мизансцену, сюжет, декорации.

Счастливая улыбка торжествующего Дани, небольшой поощрительный приз в виде согревающейся в детских ладонях фарфоровой статуэтки.

Вот и яичница съедена, и мякишем черного хлеба любовно подбирается быстро подсыхающая корочка, и вот уже блистающая чистотой и опустошенностью тарелка под звуки фанфар и рокот барабанных палочек уплывает на кухню, взрослые хитро посмеиваются над выполненной задачей, – дитя накормлено (существует ли что-либо важнее?).

Я помню жёлтый – нет, жОлтый, маслянистый горячий свет лампы, ревнивые переговоры за узкой белой дверцей, открывающейся, будто пенал, внутрь, – там бабушка Рива и дед Иосиф, мягко увещевая, требуют беглянку и отважную путешественницу обратно, в большую, тихую, наполненную молитвами и сверчанием сверчков комнату.

Тетя Лиза и дядя Даня – всего только соседи, – импровизированный обед «на стороне» нарушает планы целого вечера.

Чувство бесконечности всего. Чаевничанья (подстаканники, синие блюда, круглый стол) со сладкой коврижкой или штруделем, расстеленной постели (о, первозданность, похрустывающая свежесть пододеяльника, никто не заметит немых ног маленькой замарашки, никто не вырвет коржик из слипшихся пальцев). Но кто-то любовно погасит свет (задует свечу), подоткнув одеяло, поправив подушку.

Вот и книжка прочитана, поставлена на полку, и маленькая балерина, вращаясь на одной фарфоровой ножке, исполняет лучший свой танец, она танцует, освободившись, наконец, от тягостных дум, оторвавшись от кружевной салфетки и комода, ведь ее призвание – танец, а не унылое прозябание за толстыми пыльными томами.

Единственное произнесет дед Иосиф, прервав воцарившуюся (после объявленного тарелкой) тишину.

Гшшторбн. Ничего более. Всего одно слово, в котором и масштаб произошедшего, и отношение, собственно, к нему. Тишина, воцарившаяся буквально на секунду, уступит место ежедневному ритуалу.

За круглым столом, склонив голову над книгой, сидит девочка в «немарком» темном платье. Как сидит она (поджав ноги под себя, уронив голову на скрещенные руки, подперев ещё детский подбородок сжатым кулачком)? Задумывается ли она над значением этого слова, осознает ли значимость его для миллионов людей, застывших перед говорящей тарелкой?

Может ли предвидеть (как не мог бы никто из сидящих за этим столом в мартовский вечер 53-го года, что через какой-то десяток лет (перевернутая страница в книге, не более того), она ощутит внезапное недомогание, слабость и тошноту, и это окажется началом новой жизни, которая, осуществившись, передаст дальше те самые крупницы воспоминаний.

Старый дом, круглый стол, черная тарелка, висящая высоко, отходящий от нее провод. Лица, освещенные неярким «жОлтым» свечением янтарной лампы.

И это странное, тяжёлое, будто темное облако, нависшее над накрытым к ужину столом, слово.

Перестук серебряных ложечек

В доме на Притисско-Никольской была печь с изразцами (цвета топлёного молока), к ней хотелось прижиматься, вбирая медленное густое тепло, – помню себя стоящей у печи с прижатыми к ней ладонями.

Зима – это печь, и ровное, медленное тепло, чувство незыблемого равновесия. Что стояло за этим теплом? За видимым и осязаемым достатком, – не в виде припаркованных иномарок или дачи, вовсе нет, и не в виде дорогих тряпок и драгоценностей (не до того было).

Всего только тепло и вкусно, вкусно и тепло. Сладко, остро, горько.

Искусство выпечки коржей и маринования сельди, искусство меры и пропорции во всем, выверенности затрат и доходов – нет, ни в чем не было роскоши, чего-то вызывающего, но всякий, попадающий в этот дом, был накормлен, обласкан, спасён.

О вишнёвой наливке деда Иосифа слагались легенды. Это был прообраз хереса, – только гуще, слаще и прозрачней – почти маслянистая взвесь в хрустальном кубке, – процеженная в аккуратные миниатюрные стопочки, она разливалась целебным теплом, и весь остальной мир (за пределами этих стен) казался всего лишь уютным дополнением к основному блюду. Оно (блюдо) вливалось на вытянутых руках под восторженный выдох присутствующих. Перестук серебряных ложечек, перезвон округлых бокалов. Витые вилочки для десерта, вкус вишнёвой косточки на языке, его благородная терпкость, его вяжущая горечь.

Ковчег на улице Притисско-Никольской. О горе там не говорили, не смаковали, не выносили. Слишком непереносимым оно было, по всей видимости, чтобы упоминать его всуе.

В последний раз они встретили Семочку на вокзале в теплом и не бедствующем городе Баку. Там оказались маленькая Ляля и ее отец (застряли проездом). Прочие обитатели ковчега уже добрались до Северного Кавказа, а Иосиф с маленькой девочкой застряли (Ляля, рассказывая об этом событии, вспоминает жару, тяжёлую жару, что-то вкусное, купленное во время долгого ожидания, – возможно, это были румяные (с пылу с жару) бублики-симиты, густо усыпанные кунжутом, чуть подсоленные, хрустящие – праздник, событие во время долгого пути с бесконечными полустанками, скученностью людей, с подушками, набитыми лебяжьим пухом, одеялами, которые уходили быстро, – за буханку хлеба, щепоть муки, кубик масла, – детей в ковчеге том было немало, их нужно было довести).

Итак, бублик-симит в руках маленькой еврейской девочки, послушно сидящей на чемоданах (вокруг крики, гвалт, восточная кутерьма, суета, все тает, плывет от жары).

– Я помню, – папа побежал за мороженым, – мечтательно улыбаясь, вспоминает Ляля; тут же вижу эту полную предвкушения улыбку, отца, бегущего за брикетом мороженого, – в мареве лиц, теней, звуков...

И вдруг – Семочка. Лицо сияет, тоже на бегу. Их часть оказалась там. Случайность? Возможно, отец (дед Иосиф) узнал об этом каким-то образом, и совсем неслучайно оказался на вокзале в Баку.

Это была недолгая и последняя встреча. О чем говорили они (девочка, болтая ножками, ела мороженое), сын стоял напротив отца, отец не сводил с него глаз – как похудел (возмужал?), осунулся его мальчик, его ироничный веснушчатый мальчик, – ты ел? Хочешь пить? Мороженого?

Не знаю, как долго они стояли так на перроне, как расстались, кто уехал первым, – об этом не узнаю уже.

Ковчег, как я уже сказала, был полон. В город вот-вот должны были войти немцы. Страшные слухи ползли, в них не хотелось верить.

Дед Иосиф поверил сразу. Не знаю, колебался ли он, принимая решение. Не знаю, сколько думал – день? сутки? Трое?

Ехали всем кагалом. Дети, старики. Розочка кинулась Риве в ноги, – а места уже не было, все было впрытык, – как же я останусь, как я одна (ее Иосиф уже был на фронте, и она мыкалась с мамой на руках в подвальной коммуналке с соседями).

Соседи увещевали, – куда ж вы, Роза, с малым дитем – разве выдержит ребенок тяготы дороги, холод, голод, – а тут мы, всегда рядом, все же – свои. Может, и свои, да не все, – смекнула Роза, укутывая ребенка потеплей, – тетя Паша может и не сдаст, а вот зять ее, провожающий тяжёлым взглядом – эх, хорошенькая какая жидовочка...

– Без Розочки я не уеду, – Рива, Ревекка, мягкая, добрая, уступчивая, но непреклонная в главном, – она знала, что ее слово окажется решающим. Подвода без них не двинется с места.

Место нашлось. Ковчег двинулся, отдаляясь от охваченного паникой города, – еще немного, и на окраине его начнут рыть глубокие рвы, – туда уйдут все, кто не смог выехать.

По субботам дед Иосиф молился. Пока мог, ходил в синагогу, до последнего ходил.

– Пойди, поздоровался с дедом Иосифом, – на цыпочках ступала я по половицам, выкрашенным коричневой краской, в смущении застывала на пороге.

Будто невидимая глазу грань отделяла меня от того, кто сидел за столом.

Помню луч света из-за прикрытой неплотно шторы, и мириады пляшущих пылинок, – словно кто-то щедро плеснул золотистой краской, и она растеклась по полу, по столу, накрытом праздничной скатертью. Дед Иосиф шевелил губами, водя пальцем по строкам, по непонятным буквам, таким непохожим на те, что я уже знала. Помню бледное гладко выбритое лицо, голову, покрытую круглой плоской шапочкой (тогда я не знала, что это называется – кипа), и шапочка эта смешная была неотделима от невидящего взгляда, блуждающего в неведомых мне мирах. Один глаз деда Иосифа был плотно прикрыт (последствия удара казацкой нагайкой в юности, он так и не открылся, этот глаз), второй – останавливался на мне, робеющей.

Как будто возвращаясь издалека, оживал – худая веснушчатая рука тянулась к моей голове, – жизнь побеждала таинственную строгую книгу, – аааа, какие гости! Какие гости к нам пришли! Какие нарядные взрослые барышни! Рива, что ты молчишь, ты посмотри на нее, на нашу *мейделе*...

Почти кино

Воздух сегодня точь-в-точь как тогда. Молекула к молекуле.

Как будто и я та же. В пальто нараспашку, с наэлектризованными после мытья (чем тогда мыли? Яичным шампунем? Да ну! Неужели яйцом? (Остороженько желтки отделяем от белков...)). Да, со вздыбленной, всегда несносной жёсткой шевелюрой, – мне никогда не удавалось выглядеть хотя бы прилично, в распахнутом (как я уже сказала) пальто, я жадно заглывала сырой мартовский воздух, и, господи, главное было, никогда не догадаетесь что, – успеть снять рейтузы (до начала дискотеки) и затолкать их куда подальше, а там уже и море по колено). Какие же мы были гадкие утята, ужасно одетые, нелепые, во всей этой убогости, но каким многообещающим был этот самый воздух, какими манящими огни

Это время (самое загадочное), до начала всего, почти монохром, сплошная графика, ещё *земля безвидна и пуста*, а нестерпимая жажда (всего! скорее!) подталкивает в спину, придает ускорение.

Вы помните? Какие-то придуманные любви, страсти даже, вспыхивающие тут и там. Горькое отчаянье «невозможности», взрослые беседы под окном.

Почти кино. Мужчина и женщина. Его руки под ее пальто, ее растрёпанные волосы, запрокинутое лицо, пульсирующая жилка на шее, смех, слезы, смятение.

Не отрываясь, смотрю на них. Пустая улица. Никого. И этот шепот, смех, это запретное «руки под». Как я горю. От невозможности, от беспросветности, от этой готовности, – вот так же, шептать, отталкивать, притягивать, не когда-нибудь (вот вырастешь), а сию минуту, сейчас.

Но, увы. На мне прошлогоднее пальто (это заметно по рукавам) и дурацкие рейтузы. На дискотеку я не пойду, и весь вечер буду истязать концертное пианино «Фингер».

Фира

Сидела на скамейке такая Фира. Ее было много. Есть женщины, которых всегда много. Во всех смыслах. Голос, фактура, блеск глаз. Фира была квадратная, широкая, приземистая как черепаха. Она была такая иудейская царица. Особенных, жарких кровей. На смуглом оливковом лице выделялись ассирийские глаза-угли. Бог мой, что это были за глаза! Они все пережили. Инквизицию, изгнание, пустыню, роскошь и нищету, страх, холод, гонения, погромы, черту оседлости, заброшенное кладбище в каком-нибудь Овруче или Бердичеве...

Они все пережили, все знали. Сколько в них было печального знания, сколько страсти! Единственного не было, – безучастия.

Такой уж она была человек. Где бы она не находилась, дома или на лавочке (дальше она не шла, страдая избыточным весом и одышкой), присутствие ее было деятельным, страстным, слышимым и видимым.

– Петечка, иди уже сюда, счастье мое, кися моя, рыбка! Ах ты охламон бесстыжий!

Грудь ее необъятная волновалась в предчувствии объятий, цепкие пухлые ручки так и стремились мять, гладить, шлёпать. Петечка, небесное создание, вырос на ее любвеобильной груди, в кругу этих цепких рук.

Подбрасывая его на коленях, она заливалась кудахтающим смехом, призывая в свидетели все человечество.

– Вы только посмотрите на этого прынца! Мое ты золото, моя ты радость!

Петечка, задумчивый мальчик с лилейной кожей и такими же черносливыми глазами, как у бабушки, застывал с крохотным пальчиком во рту.

– На тебе ещё бабин палец! Что? Не хочешь? Не нравится бабин палец? Скажи: баба, БА-БА!

Она хохотала, сотрясаясь телом, и в груди ее хрипела целая фисгармония. Фира страдала хроническим бронхитом, грудной жабой, почечной и сердечной недостаточностью, щитовидкой, ноги имела тяжёлые, слоновьи, и, поднимаясь по лестнице, кряхтела, охала и причитала так, что вся улица замирала в суеверном ужасе. Дойдет или не дойдет?

Она с божьей помощью доходила, и теперь ее слышно было из распахнутого в летний двор окна. Можно только вообразить, что происходило на кухне! Там шкворчало, томилось, пригорало, тушилось, парилось и сохло, настаивалось и пахло. Доносился грохот, звон, причитания.

– ...а я ему сказала, а он...

На кухне Фира выясняла отношения со всем миром, а также с горячо любимым зятем и единственной дочерью, иудейской принцессой, которая, несомненно, достойна была лучшей партии, чем этот внешне ничем не примечательный, лысоватый, неказистый человек с портфелем, – вот сейчас он завернет за угол, и маленький Петечка побежит ему навстречу, и с разбегу уткнется в живот, в расставленные широко руки, – нет, всё-таки, такой зять это подарок, не гневи бога, Фира, у него не голова, а счётная машина, а сердце,

что вы скажете за его сердце? Это же ангел, а не человек! И, слава богу, Петечка, – личиком в маму, не ребенок, а дар божий, нет, все чтоб не сглазить, хорошо, но, согласитесь, с ее внешностью... У кого ещё видели вы такие стройные ноги, высокие, округлые (точно финикийская чаша) бедра, а гордо очерченные губы с родинкой, а крылатый нос, а тяжёлые смоляные кудри, а расходящиеся от переносицы брови, а миндалевидные глаза...

Фира знала, о чем она говорила. Дочь была ее копией, только улучшенной. Короткая талия, ноги, стремительно вырывающиеся из-под юбки, – ноги эти сводили с ума всю округу, девочку опасно было выпускать из дому. Но главное, конечно, было не в ногах, не в осанке, не в смуглых египетских ступнях, не в прохладной оливковой коже.

Запах. Волнующий, жаркий, густой, он вводил в искушение любого. Эти тяжёлые, с поволокой глаза источали обещание. Но стоило Злате открыть рот, как все становилось на места. Тембр был несколько разочаровывающий, интонации местечковые, с такой прелестной ленцой.

Злата, как и Фира, выучилась на бухгалтера, цифры хорошо уживались в ее восхитительной головке. Она была прилежной матерью и женой. Но до безудержного темперамента и тревожного обаяния Фиры ей было, пожалуй, далеко.

Но когда она, закусив губу, улыбалась, бог мой, все становилось неважным... Голос, тембр, интонации... Она несла с собой аромат пряной, насыщенной, нездешней жизни. Точно изысканный цветок, всем своим видом сообщала – радуйтесь мне, я здесь проездом, по случаю, ненадолго.

Беременная вторым ребенком, она внезапно располнела, тем самым напомнив мать, но и это шло ей, и аромат становился ещё более густым, вязким, от подмышек ее шел жар, она вся будто прорисована была углем. Царица Вашти, Эстер, Ракель из испанской баллады, Маха одетая и Маха обнаженная, – покусывая губу, она говорила о каких-то тривиальных незапоминающихся вещах. Молокоотсос, импортное питание, ацидофильное молочко, пеленки, сервелат, хрустальное бра, финский унитаз, новый гарнитур, кажется, югославский.

История любой семьи это эпос. Долгий путь любящего сердца. Цепкость смуглых желтоватых рук, управляющих непостижимым чудом жизни. Молокоотсос, рыхлая полнота, базедова болезнь, фисгармония. Позвякивающие в авоське бутылочки детского питания. Длинное слово «Кулинария». Нежные ступни в разношенных босоножках. Новые туфли на каблуке.

Они, конечно же, давным-давно уехали, страшно сказать, на другой конец света, увезя с собой подростка Петечку, девочку-бэби, острый нездешний запах и старую Фиру, которая нигде дальше гастронома и рынка не бывала, но, наверняка, знала, что все в этой жизни предопределено, и старый двор с натянутыми бельевыми веревками, и разросшиеся каштаны, оплывающие в летнем зное, не навсегда.

Жажда

– Опять она, и ходит и ходит, будто ей медом намазано.

Головы на вытянутых шеях все, как одна, клонятся, разворачиваются в ее сторону. Лёгкий шелест – не ветерка даже, а так, дуновения, сквознячка – оттуда, из дальних времён, из окраинных, исподних жизней, набитых, будто гороховые стручки, десятками, сотнями судеб, событий, следствий и причин.

И там, в темных гулких шкафах, за надёжными дверьми и засовами, таятся стопки ненадеванного, неизжитого, чьи-то сложенные вчетверо квитанции, справки, удостоверения с фиолетовыми отпечатками на них.

– И ходит и ходит, стрекочет и стрекочет, глаза, глянь, шальные, пьяные, будто под гипнозом.

– Так гипноз и есть, самый что ни на есть гипноз. Глянь, как бежит, будто на верёвке кто тянет. Эх, добегаются девчонка, допрыгается, – сколько уж таких бегало...

И все мимо.

Сколько себя помнила, всегда, задыхаясь. Черт его знает, воздуху, что ли, не хватало. Что-то огромное распирало грудь, рвалось наружу. Названия этому не было. Не было определения. Ну да, определения, они ведь снаружи даются, другими.

У этих, на лавочках, свое. В поле их зрения она, бегущая от трамвайной остановки (невидимая им часть пути, – сам, собственно, трамвай, идущий издалека...).

В поле их зрения только она, идущая торопливо по бетонной пролегающей между пятиэтажками дорожке, – ничего до, ничего после.

Бежит, опять. Чужая, не наша. Точно арабка, брови чоорные, глазищами сверкает, – сверк-сверк.

Последнее ударяет в спину, исчезающую в подъезде. Либо же показалось. На минуту оказавшись в поле ее рассеянного взгляда, силуэты (вместе с лавочками) уходят со сцены. Вместе с догорающим августовским светилом. Это сейчас она провожает его глазами, это угасание дня, нежится в его лучах, предчувствуя долгую, полную лишений зиму. Его ещё много будет, солнца этого. До отвращения. Непереносимого, обесцвечивающего, обесценивающего все.

Ну да, лифт не работает. Ерунда. Сколько там бежать. Всего пять пролетов, мимо смердящих мусоросборников, вдоль тускло-зеленых стен. Сейчас в поле зрения – босоножки, припорошенные пылью пальцы ног, круглые загорелые колени, точно поршни, – вверх-вниз, и куда, собственно, торопиться ей, когда все заключено внутри ее тела, – стремительного, ясно очерченного, со всей заключённой в нем жаждой, тоской, энергией.

Но она, тем не менее, торопится. Потом, уже издалека, будто в линзах театрального бинокля, она увидит эту часть собственной жизни, – и часть эта окажется столь короткой, столь ничтожной, если говорить о протяженности ее.

Каких-то несколько встреч. Куда больше (по времени) занимает дорога на трамвае, подхлестывающее нетерпение, – ну, сколько можно трястись в этом убогом тарантасе, когда жизнь несётся столь стремительно, столь жадно, – когда ток ее крови толкает себя самое, подчиняясь вполне объяснимым (с тривиальной точки зрения) законам. Но ведь, на самом деле, удивительным, лунным, космическим. Будто стрела, выпущенная в цель, – она летит, обходя и преодолевая препятствия, подчиняя все и вся этой самой цели.

Неважно, что позже, много позже, цель, оставаясь позади, оставляла после себя сгусток либо лёгкую тень воспоминаний. Любые попытки оживить, реанимировать эту жажду «по памяти» терпели поражение.

В последний раз они встретились при других обстоятельствах, уже изменивших их. Ее, идущую упругой походкой по жаркой полуденной улице (под пальмами, вдоль серых невыразительных домишек). Его, сидящего в салоне нового автомобиля.

Их встреча была спланированной, казалось бы, после долгого перерыва (судьбоносного, конечно же), она должна была быть яркой, запоминающейся, эмоциональной.

Но в эти полгода та самая центростремительная сила, которая привела ее сюда, произвела значительное разрушение и опустошение в ней самой. Ничто не прошло даром. Ни долгая разлука, ни перемещение (вместе со всем, что составляло ее жизнь) в пыльный ближневосточный городок, в заброшенный дом на окраине. Новая жизнь изменила ее гораздо более, чем она могла предположить. Нужно было прикрепиться к этой самой жизни, а значит, стать другой, и эта женщина, идущая вдоль шоссе, – внешне уверенная в себе, на самом деле – испытывавшая обрыв пуповины, отчуждение, отчаянье, несовместимое с выживанием (той, прежней) – но все же, вопреки всему, выжившая, живущая, более того, внешне – даже лучше прежней, ярче, очерченной, – совсем не ровня той,

задыхающейся от нетерпения, бегущей вдоль трамвайной линии, взлетающей на пятый этаж.

Ток крови не то чтобы замедлился. Он изменил траекторию. Жажда никуда не ушла. Она, подчиняемая (как и тогда), внезапно обозначенной, где-то там, за поворотом, целью, неслась, будто одержимая, лишь краем глаза успевая отметить чуждое поле стремительно отодвигающейся и проносящейся мимо жизни. Какие-то силуэты, тени, обстоятельства. Всякий раз иные. Сорок шестой автобус, медленно ползущий (через весь город) в далёкий Бат-Ям. Араб, сидящий неподалеку от автобусной остановки. Его пустынные глаза, отороченные густыми девичьими ресницами, проникают сквозь все преграды. Сквозь все слои, цивилизационные, социальные, межличностные, межвидовые.

Она успевает отпрянуть, не выдержав чужого пустынного взгляда. Этот взгляд, лишенный какого-то понятного подтекста, в избытке наделён иным, пугающе конкретным. Холодной силой и цепкостью. Глаза следуют за отъезжающим автобусом, и внезапное это вторжение кажется ей знаком.

Лишённая привычных суеверий, она все же привержена каким-то собственным (не обманывающим в наивысшем) ощущениям. Которые здесь, на новом месте, претерпевают некую трансформацию, тем самым обнажая ее суть. Обнаруживая – слой за слоем – наносного, из прошлых жизней (придет серенький волчок), ненужных знаний и умений, ее собственное, холодное (и горячее в то же время) пустынное, безудержное, – настоящее.

Возможно, все эти цели, за которыми, задыхаясь, следовала она, только для этого. Ради этого взгляда, вторжения из-за пыльной занавески, – случайного взгляда сидящего на корточках человека.

Он был неуловим, вездесущ. Принимал различные образы, формы. Назывался различными именами. Например, этот, низкорослый таймани (йеменский еврей) в вязаной белой тубетейке. Взгляд будто лезвие, горячее, вспарывающее любые условности. Выхватывающий из десятка идущих мимо, безошибочно определяя цыганскую (пугающую ее самое) суть.

Будто, соприкасаясь взглядом, он успевал (за некую условную единицу времени) прожить, пережить, перебыть с ней – в каких-то иных временных потоках и пространствах – долгую жизнь.

Та самая жажда, узнаваемая, определяемая в другом. Та самая жажда, уводящая от привычного, насиженного, внешне безопасного, обустроенного, от книжных представлений и формальностей, – в мир жестокого подчинения и горького, изматывающего, единственно верного (потом, уже восстановленным рассудком принимаемого за ошибочное, конечно же) – путешествия.

И все же, однажды испытанная, она не умерла окончательно. Будто стая аквариумных рыбок силится проникнуть сквозь толстое стекло аквариума. Либо ты сам, с любопытством наблюдающий таинственное свечение в толще вод.

Иногда мы встречаемся глазами, припоминая что-то. Пустынное, волчье, звериное. Но, разделенные толстым стеклом, ведомые целью (каждый – своей), отталкиваемся, плывём.

Зелёные яблоки Сезанна

Порой, направляясь к парку, я встречаю его, идущего от метро. В одной руке дипломат, в другой – пачка с новыми книгами. Лицо его светится каким-то особенным удовольствием. Предвкушением.

Он воодушевлен покупкой, ему не терпится поделиться радостью. Листаю, торопливо пробегая глазами названия глав. Философия – это далекая планета, на которой происходят удивительные явления, – там старик Платон, похожий на господа бога с картинок Жана Эффеля, о чем-то спорит с Аристотелем, а старина Фейербах, по-свойски приобняв Гегеля, удаляется по выложенной серыми плитами дорожке парка.

В несчастной моей голове не умещается обилие определений. Относительность всего повергает в ступор.

«Если взять предмет с этой стороны, а потом взглянуть с той...»

Ну, ясное дело, – один и тот же предмет можно рассматривать с разных сторон, и всякий раз это будет новый предмет, наделённый новыми характеристиками. Зеленые яблоки Сезанна, вытянутые женщины-амфоры Модильяни, их поющие шеи, их плавные бедра, их нежные лица, уязвимость, расплывчатость, узнаваемость черт... Это совсем не те яблоки, которые лежали на столе или в корзине, и даже не те, которые усыпали влажную от дождя землю. И совсем не те женщины, которые обладали тривиальными характеристиками – возраст, пол, вес, размер ноги, политические убеждения или отсутствие таковых, – женщины Модильяни – это некое слитое воедино женское начало, но без греховной, дьявольской составляющей – это, если хотите, молитва или мантра, обращённая к Создателю, это исполненный глубинной благодарности гимн, воспевающий хрупкость запястий, изящество лодыжек, медлительную мощь бедер, но не это даже, а некую спрятанную (точно жемчужина в перламутровой раковине) тайну, которая обитает внутри, но именно от нее свет и упоительная нежность бытия, – совсем не те женщины Пикассо! Вот где торжество демонического, вот где сардоническая усмешка из-за кулис.

О чем это я? О философии, конечно, об относительности любого явления, предмета, его нахождения в провозглашенной системе координат.

Время, говорил Платон, есть подвижный образ вечности, а вечность есть неподвижный образ времени.

Аристотель же считал время каким-то «движением и изменением»

Находиться во времени для движущегося или покоящегося предмета у Аристотеля означает, что движение или покой этого предмета измеряются. Поскольку же измерять может лишь душа, то и время в собственном смысле слова может быть лишь там, где есть душа. Если рассуждать формально и безотносительно, то, по Аристотелю, время есть число движения, или его мера, его порядок.

Душа, закреплённая в образе (либо же воссозданная им?), пригвожденная к полотну, остановила время? Женщины Модильяни и Пикассо существуют вопреки всем физическим законам.

В мире импрессионизма отобразился и застыл целый мир, казалось бы, давно ушедший в небытие. Вот Париж Вламинка, вот Париж Шагала, вот дух местечка, неведомо каким образом просочившись из глухой провинции в центр мира, раскрывается, подобно библейскому цветку, – здесь нет нищеты и скученности, нет тоски и косности, нет боли и страха, – вознесясь над крышами, парят в воздухе агнцы, девы и отроки, там Бузя и Шимек, взявшись за руки, взлетают над оврагом, рекой, погостом, над еврейскими могилами, покосившимися домишками, распахнутыми окнами, из которых, подобный первому снегу, разносится по воздуху лебяжий пух.

«...ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои – как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои – как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя – как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных; два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями»¹⁰.

¹⁰ Фрагмент из «Песни Песней».

О чем это я. О философии. Об относительности определений. О застывших догмах и изменчивости материи, о яблоках Сезанна и мыслеформах Матисса. Матисс раскладывал мир на формы и цвета. Утрилло видел его подробно прорисованным, нанесенным тончайшей кистью, – тающим в городской сиреневой дымке, ему и невдомёк было, что в лавке через дорогу висят распятые освежеванные туши. Их видел Хаим Сугин. Мир освежеванных туш, опровергающих (и подтверждающих одновременно) существование жизни. Вот она, конечная станция. Торжество разложения. Как знать. Предчувствие неминуемой катастрофы либо воспоминание о ней. Бесстрашие отчаянья. Он там был, он это видел. Так Катастрофа, поселяясь внутри, завоевывает право на существование, вытесняя весь остальной мир, – подробную графику улочек, каллиграфию проводов, вокзалов, тусклый свет кофеен. Здесь нет смутной нежности, переполняющей сердце, здесь не звучит слово из «Песни Песней». Здесь шпалы, расходясь, доставляют в пункт назначения, здесь маленький человек, объятый нечеловеческим ужасом, бежит, понукаемый сворой человекоподобных.

«...когда бежал он от Авшалома, сына своего. Г-споди, как многочисленны враги мои, многочисленны поднявшиеся на меня! Многие говорят о душе моей: нет спасения ему в Б-ге! Сэла! А Ты, Г-споди, щит для меня, слава моя, и возносишь голову мою. Голосом своим к Г-споду взываю, и ответил Он мне с горы святой Своей. Сэла! Я лежу и засыпаю, пробуждаюсь, потому что Г-сподь поддерживает меня. Не боюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня. Встань, Г-споди, помоги мне, Б-г мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты. У Г-спода спасение! (Да будет) на народе Твоем – благословение Твое! Сэла!»¹¹.

Знаешь, вчера я наткнулась на целый мир, который ты собирал годами – по кирпичику, по атому, – Конфуций, Плутарх, Кант, Бодрийяр.

Мысль запечатленная наполняет смыслом, но изнуряет плоть.

Вокруг меня больше зелёных яблок, больше влаги и жара, в моем мире уголь, соперничая с сангиной, воссоздаёт счастливые формы жизни, в которых удивительным образом уживаются хаос и порядок, свет и мрак. Цвет и форма, опережая друг друга, поведают об относительности и изменчивости, об общем и частном, о цельном и подробном, о гармонии и диссонансе, о перспективе, покоряющей пространство, о ритме, идущем вровень со временем.

Зелёные яблоки Сезанна окажутся важней исписанных мудрецами томов, и ты об этом знал, понимая меня (как никто другой) и все же тешил себя надеждой...

Что однажды, вытирая пыль и перебирая тяжёлые тома, я встречу с тобой, неторопливо идущим по тропинке. В одной руке дипломат. В другой – связка нераспечатанных книг. В глазах – предчувствие встречи.

¹¹ Фрагмент из «Псалмов Давида